Игорь Лосиевский

Как последняя вспышка

Игорь Лосиевский

Как последняя вспышка

стихи из трёх книг

Издательство
курсор
Харьков - 2021

УДК 821.161.1(477)–1
ББК 84(4УКР=РУС)6–5
Л79

Л79 **Лосиевский, Игорь**. Как последняя вспышка : стихи из трёх книг / Игорь Лосиевский. – 2-е изд., доп. – Харьков : Курсор, 2021. – 340 с.

ISBN 978-966-8944-93-2

В сборнике представлены стихи из книг Игоря Лосиевского «Итака» (1997), «Долгие проводы» (2007) и «Колонна» (2017), а также стихи, не входившие в опубликованные варианты этих книг. Некоторые уже известные произведения печатаются в более полных или новых авторских редакциях.

На обложке и на шмуцтитулах –
репродукции произведений М. К. Чюрлёниса.

ISBN 978-966-8944-93-2

УДК 821.161.1(477)–1
ББК 84(4УКР=РУС)6–5

© Игорь Лосиевский, 2021
© Курсор, 2021
© А. А. Гуськов, макет, обложка, 2021

КОЛОННА

Элегии чисел

Наталии

1

Пасмурных дней неуютная проза:
ветер, зубами от холода клацать, –
если бы не забелели берёзы
за поворотом. Всегда их двенадцать.

Тошно ли, весело, солнце ли, слякоть –
ровно двенадцать, и как на параде.
О невезении можно ли вякать?
И не помыслю о лучшей награде.

Ждут – и легки их касанья, объятья.
Ровно двенадцать, ведь ты не забыла?
Это по ним научился считать я,
когда мне пять с половиною было.

Может, об этом не стоит словами...
Нового века девчонки-мальчишки
прыгают, носятся между стволами.
– Как же давно мы живём, – говоришь ты.

Рушились страны и падали флаги,
мы разуверивались, прозревая.
Только б не вышли из той передряги,
если б не эта защита живая.

Неторопливы теперь мы в движеньях,
за молодыми уже не угнаться,
но доберёмся до старых друзей мы
за поворотом. Всегда их двенадцать.

Кроны несут они, точно короны,
стали стволы их как ноги слоновьи,
держат полвека они оборону,
чтобы мы жили добром и любовью.

Сеткой морщины, виски побелели.
Правда, на них мы немножко похожи?
И ни о чём не просили. И пели
птицы на ветках о милости Божьей.

Всё совершается сложно и просто.
Пасмурно в мире, раздоры и войны.
Наших имён не найти на берёсте,
мы никогда им не сделаем больно.

Помнишь картину Куинджи: виденье
белых гигантов и сумрак ворожий?
Чудного грека произведение
чувствую я и корою, и кожей.

2

Мне нравится эта поющая пара,
им, верно, на пару без малого двести.
У кромки бредущие тротуара,
глубокую старость обретшие вместе.

Как нежно, по-детски мизинцы колечком,
и не разорвать их – так держатся крепко.
У каждого в сумке, походной аптечке,
дежурит – на случай на всякий – таблетка.

Не в парке, где часто поют и играют
старинные вальсы и пары кружатся, –
на людном проспекте, под визги трамваев
поют, и мне верится: каждому двадцать.

Урод засмеялся и крикнул: «Из дурки?»,
по-глупому фыркнула рядом девица, –
а над тротуаром, где пыль и окурки,
всплывают их помолодевшие лица.

И кто-то шепнул: «Интересная дама,
и спутник под стать ей, подтянут и строен.
Покуда поют – помирать вроде рано.
Чего им стесняться? Бояться чего им?»

А что же поют? Не имеет значенья,
какой-то романс о досадной ошибке.
Мне как бы орган – их восторг и гуденье
и в радость случайных прохожих улыбки.

3

Не проиграем, если остаток отрубят,
если не повезёт – шальной трамвай переедет,
трам-тарарам… Души родные помнят и любят,
и не одна там о нас, задержавшихся, бредит.

Но хорошо же как было в июне-июле!
Где наши знаки и звуки? Жизнь – как минута,
за шестьдесят уже не опасна. Нырнули?
Или взлетели? (это – детали маршрута).

4

Мир спит, но как хорош младенческий снежок,
он райской чистоты – из темноты кромешной.
Меня коснулся он, души моей ожог,
как ангел, остудил – и тает безмятежно.

Я снова отличать ошибки от обид
смогу, своей вины не пряча за чужую.
Давай с тобою жить, как первый снег летит,
и таять бескорыстно, не впустую.

2016

Звезда Сириус

Смурой зимней порой
разве хандра – беда?
Форточку приоткрой,
кто там стучит?
Звезда.

Величиной с пятак,
лучиком по стеклу...
Я ж тебя ждал, чудак,
чтобы развеять мглу!

Цветом играешь, мной,
водишь по декабрю.
Легче тебе – двойной,
а я один горю.

Январь 1985

Масленица

Как мне не любить тебя, масленый город,
где возится-косится мусорный голубь
и грач – тяжелы его взгляды, резки –
бросает цыганские косяки.

А тихий дворовый реликт – дядя Вася
с утра оклемался и с полудня квасит,
душа его тлеет у всех на виду,
тусклее сырой сигаретки во рту.

По образу он и подобию разве,
объект затухающий? Бес меня дразнит,
проблема сия – неземного ума,
а сумрак душевный – пока что не тьма.

Встряхнись, дядя Вася! Пусть ночи длинны –
соседка печёт золотые блины,
как сдоба, пышна, и, глядишь, угостит.
И каждого каждый простит.

2000

Сосед

Этот живчик, отставной капитан,
а быть может, отставной он майор,
неслучайно, моя радость, нам дан
и нужней, чем адвокат, прокурор.

Только выйдешь – он, сердешный, бежит
по домашним делам – не на пикник.
Ну совсем неромантичный мужик,
а я сам по себе гулять привык.

Всё просчитано им до мелочей,
он вселенную заводит как часы,
ко всему есть пара-тройка ключей
запасных и контрольные весы.

А хозяйке его как повезло:
посылает мужа дважды что час, –
он бежит, не огрызается зло
и не знает, как он важен для нас.

Потому что, если выйду во двор
или мы с тобой пойдём погулять,
тут как тут капитан или майор:
пробегает, чтоб вернуться опять.

«Как бы выжить нам? – опять говоришь. –
Ох, пошли наши дела вкривь и вкось».
Повстречали мы его и, глядишь,
всё уладится, срастётся авось!

2015

* * *

Я на многое в мире закрыл глаза,
но такое порой сверкнёт...
Есть старуха у Рильке – на полчаса
каждый вечер нырок в комод,
а во мраке его – чернее пруда –
золотою рыбкою брошь.
За такую полцарства, а иногда
даже душу свою отдаёшь.

...Эта девушка гибкости неземной –
полулебедь, полудитя –
получила такую же власть надо мной,
не узнав о том, не хотя.
Просто села на край скамьи в метро,
распахнула глаза вдруг…
Прямо в сердце летит золотое перо!
Я тону, спасательный круг!
Как тревожит блеск стоозёрных глаз,
взгляда гибельно остриё...
Но не буду, не буду думать о нас,
отойду, молясь за неё.

Для чего Ты на землю пересадил
ту, которой бы жить в раю?
Вседержитель, неведомых полный сил,
удержи меня, говорю!

2015

Предсказание

Раковиной улитки дом наш завёрнут глухо,
пятиэтажный титаник, треснувший по торцу.
А на крыльце дежурит сумрачная старуха,
глазом вороньим душу любому прожжёт жильцу.

Этого обнадёжит, а на того осерчает,
не потому, что бабник, – чует нутром: подлец.
«Бабка, ещё не сдохла?» – мент её привечает.
А о соседе снизу шепчет она: «Не жилец».

Все мы туда, конечно, другого расклада нету,
только куда – неясно, кто-то в аду сгорит.
Небо как глаз вороний, и светляком – комета.
«Это к войне», – старуха раздумчиво говорит.

«Грёбаная Кассандра», – буркнул сосед болезный,
мент, слегка протрезвевший, пальцем вертел у виска.
Зря мы тогда смеялись, стоя у самой бездны.
Умер сосед, на границе – путинские войска.

22 июня 2014

Ожидание

В этой комнате звуковой
стук часов на стене – набатом,
каждый шаг – так по мостовой
отчеканивают солдаты.

Слово, гулкое как струна,
может выстрелить приговором,
напряжённая тишина
передёргивает затворы.

В Иловайске уже рассвет.
Год четырнадцатый. Украина.
Это август, и связи нет
у него с единственным сыном.

2014

Русская речь

Игорю Михайлину

Думал ли я, что любви не сберечь,
что в тягость мне будет русская речь?
Не та, стиховая, что слаще вина,
где тайна небесная с тайной земной
своей завораживают глубиной,
не звёздная бездна – без счёта и дна.

Думал ли я, что отравит расчёт
русскую речь, точно яд протечёт?
Настали немыслимые времена:
цветёт она ложью на свежей крови,
и нет в ней ни капли Христовой любви,
уходит божественная глубина.

Кривде не место в обители муз,
Пушкина с Палкиным зыбок союз.
Ах, как хоронил он его, хоронясь,
жандармы молилися за упокой...
Как вежлива нынче московская власть...
Но выдаст шалаву жаргон воровской.

Думал ли я, что любви не сберечь,
что вздрагивать будем: русская речь,
что букою станет для наших ребят
безудержно акающий солдат?

Март, август 2014

Воспоминание о Крыме

...и всё кругом – такая не Россия.
Борис Чичибабин
Судакские элегии, 1982 г.

Конечно, русский Крым, с прибоем под скалою
. . . . . .
Истошный крик цикад. Конечно, русский Крым.
Александр Кушнер
2014 г.

Где над персиком колдует восток
и Яйлы божественен колизей,
проходили мы, мольба и восторг,
окликая верных собак и друзей.

Там хрустален воздух и ветер свеж,
и не знаешь, где неба, где моря край,
хмурым утром луч пробивает брешь –
это нам Господь открывает рай.

Сколько есть на свете земель и стран,
но такой второй не найти, скажи?
Не избыть-забыть нам её пространств –
это память высится, как Демерджи.

По весенним склонам алеет мак,
виноградник молится: «Даждь нам дождь...»
Здесь так много для духа и тела благ,
что молить о большем – и грех, и ложь.

И подобен греческому кораблю
этот в море отважно ушедший мыс.
Как богиня стоишь на его краю.
О, смертельно прекрасная, удержись!

Здесь осколки портиков между скал
и своё отблиставший Бахчисарай,
где остались тени тех, кто искал,
почему Господь закрывает рай.

Когда жизнь налажена – чужакам,
ой, неймётся, тянет их к воровству.
Что за страсть такая к чужим краям?
Обуяла снова она Москву.

Как и встарь, на юг воровской бросок
совершил засевший в Кремле бандит
и шинельной одой, придя в восторг,
согрешил имперствующий пиит.

Не фигляр презренный – знает рецепт,
как словесное месиво заварить,
но на глупость срывается и фальцет,
сочинитель в летах – а какая прыть!

У имперцев глаза амбарных котов,
наш ответ им: память – заветный лаз.
И да будет Крым во веки веков,
как сверкал он до нас, при нас и без нас.

Пять империй простоял Чатыр-Даг
и шестую, и сотую простоит,
где так много для духа и тела благ
и камней для новых могильных плит.

Под Ай-Петри синие сосны шумят,
голосуют стройно, сходясь, расходясь,
я не знаю, о чём они говорят,
но я чувствую с каждой живую связь.

С детства к морю Чёрному я привит,
старший брат мой – грозно идущий вал.
На каком языке он гремит-шумит,
до сих пор я, неуч, не разобрал.

Декабрь 2014

Карадаг

Нет слов, чтоб описать, смотрите сами:
застыли рык и мощь, как лев перед прыжком
в засаде не на миг – на вечность замер,
поймав беспечный мир агатовым зрачком.

Храбрец взошёл на крепкий твой затылок,
победный вопль издав, а я дозор несу:
не сбрасывай того, кто юн и пылок,
и пощади зевак, столпившихся внизу!

2013

На Яйле

В расщелинах даже летом – лёд.
Как печка горяч валун.
Утренний воздух звенит-поёт
льдинками вышних струн.
Так высоко, что крылата грусть
и опер*и*лся слух.
Низкие кроны сплетутся пусть
над головами двух,
ходят под ними, покуда спят,
тишайшие облака,
и молодые орлы парят,
заносчивые слегка.

Июнь 2012

* * *

Прижился плющ, алупкинский дружок,
в квартирке нашей, окнами на юг,
он тих и цепок, по стене ходок,
и каждой веткой замыкает круг.

Совсем как мы, всю жизнь кружит, любя
тепло и свет, живая с Крымом связь,
и обвивает даже сам себя,
зимы и одиночества боясь.

Декабрь 1998

Полёт

Анатолию Гуськову

С восьмиметровой высоты сорвался – не забыть,
как был я с воздухом на ты, когда лететь как плыть.
Струился нежно-голубой и тело обвевал.
Увидел я морской прибой и дальний перевал,
и Небо улыбалось мне, звучали песни Дня
и цокот белки на сосне – сердилась на меня.
Потом сомкнулись плечи гор и – Мрак над головой.
Друзей короткий разговор:
– Разбился!
– Нет, живой.
Два перелома, гематом не меньше десяти,
а я, очнувшись, всё о том, что это – пустяки,
и повторял, едва дыша: до свадьбы заживёт,
зато я знаю, как душа отправится в полёт.

2007

Поэт на пляже

Науму Коржавину

Не стесняясь кричит и вздрагивает –
схож и с осликом, и с тележкой, –
перекатывается по гравию
близорукий смешной мятежник.

Повторяет он всё настойчивее:
«Да послушайте же, послушайте!»
Отдыхающие находчивые
затыкают ватками уши.

«Мам, а дядя поёт или кашляет?» –
вопрошает малыш на песочке.
Впрямь как в сказке, где гном неряшливый
топчет выхоленные цветочки…

Он слюной вдохновенья брызгает,
кто ж в серьёзность его поверит?
Так волна набежавшая рыкает,
разбиваясь о сонный берег.

Он похож на доброго ящера,
не грозит ему исчезновение,
потому что стихи настоящие,
нет сомнения.

1994

Тоска по Югу (песенка)

Опять токуют поезда –
тук-тук, тук-тук вдали,
и не понять им никогда
тоски моей земли.

Они торопятся, мой друг,
на юг, тук-тук, на юг,
а нам – не то чтобы каюк –
не до купе-кают.

Без нас уходят корабли,
курс на Стамбул берут.
Выходит, зря права блюли
на отдых мы и труд.

А наш любимый уголок –
милей заморских стран –
паук имперский уволок,
а может, таракан.

Хитёр, коварен и спесив,
заполз тихонько в тыл
и под кузнечика косил –
зелёненьким он был.

Опять токуют поезда –
тук-тук, тук-тук вдали,
и не понять им никогда
тоски моей земли.

Но вы дождитесь нас, друзья,
Зейнеп, Айше, Чингиз
и кедр ливанский у ручья,
и старый кипарис.

Июнь 2016

Чайхана

Памяти Лео Яковлева

Заболею Востоком твоим – разыщу чайхану,
где сидят старики, лица сморщены их, как урюк,
чай отхлёбывают не спеша, вспоминают войну,
кто же юность забудет свою и красавиц-подруг?

Небывалое время – как быстро взрослели они!
Погибали отцы, и уже призывали ребят.
Не в пергаменты лиц – в души им поскорей загляни,
о тебе говорят старики. О тебе говорят!

Как приехал диковинный мальчик – и ахнул кишлак:
белобрысый и зеленоглазый, и кожею бел.
А мулла загудел: «Милосердный Аллах по*д*ал знак –
сгинет Гитлер-шайтан, очернить белый свет не сумел!»

Солнце сделало смуглым его, раскалённая пыль
обжигала глаза, но он щёлки сужал: не возьмёшь!
На Восток он пришёл – и нашёл свою сказку и быль,
словно в спелую дыню вошёл пламенеющий нож.

Говорливый тюрчонок – он зыбок теперь, как тростник,
и газель-персияночка – свет её рано погас –
обучали его, и способный урус-ученик
всё, как губка, впитал, и шептал, сотворивши намаз:

«Милосердный Аллах, не игрушек прошу и утех,
похоронки обратно верни – мы отцов подождём,
сделай так, чтоб воды и лепёшек хватило на всех
и кипела похлёбка над неугасимым огнём».

Часто снилось ему, что всесилен он, как Аладдин:
только лампу потёр – возвращается с фронта отец,
мать готовит обед на троих, исполнительный джинн
послан прямо в Берлин – и шайтану приходит конец.

Отшумели давно, отзвенели те грозные дни,
но стоит чайхана – стал узор на коврах потемней,
здесь впервые услышал мальчишка газели Джами:
«Любит кто и любим – пьёт шербет до скончания дней».

Он взрослел – и ему открывались сердца мудрецов
и поэтов, он запросто к ним приходил, не спросясь.
Пусть Руми и Хафиз не заменят погибших отцов,
но Хайям просчитает, какая тут кроется связь.

Столько жемчуга знаний и слов нанизала душа,
что премудрый Омар вдруг спустился с невидимых гор,
сели вместе они на ковёр, пили чай не спеша,
и заслушалось Время, не смея прервать разговор.

Вдаль течёт он и вглубь, как в арыках живая вода,
облекая в гранёные формы сверкающий смысл.
Но пришёл арбач*и* и сказал: «Вам пора, господа,
засиделись вы тут, ну а там вас уже заждал*и*сь».

Эту боль не унять, но, как улей, гудит чайхана,
оживились твои старики, так зачем умирать?
А у нас – вот чего ты не знаешь – бушует война,
бросил Путлер-шайтан на Донбасс свою чёрную рать.

Но понять разве сможет шайтан, а вернее, шакал:
сил не хватит ему, не удержит чужого добра.
Кто воздушных путей в бренной жизни своей не искал,
тот подохнет, смердя в куче золота и серебра.

Никогда не учил ты меня, но позволил смотреть,
чем живёт человек. Заболел я Востоком твоим,
в чайхане посижу, не давая душе околеть,
а потом засмотрюсь на сияние снежных вершин.

Август 2014

Восточное

1

Из Руми

Молчим, но говорят сердца – твоё с моим,
желания встречаются – твоё с моим.
Пусть переплавит нас огонь любовный
в одно желание, а не твоё с моим!

2

Ты из глубин и далей голубых,
цветов земных, надежд моих смешных.
О, посмеюсь теперь – была ли ты такою,
какою я тебя придумал за двоих?

3

Нам удача улыбнётся – и не раз,
а потом заря займётся не для нас.
Но и тем, кто через сотни лет попросит,
подари, Хафиз, прекрасный свой Шираз!

4

Заметил как-то Рудаки:
– Есть золото и медяки
среди поэтов Хорасана,
и в звёзды метят светляки.

5

Поэт впросак попал, крича: «Полмира
лежит у ног Великого Эмира!»
Эмир себя владыкой мира мнил,
на голову – поэта сократил.

6

Всю жизнь боялся смерти Насреддин.
Когда пришла, ходжа был не один,
с друзьями пировал и крикнул гостье:
«Я не тебе, я им необходим!»

7

Из Джами

Созревание поэта
с виноградником сравни:
он растёт – была бы влага,
время ветки обрезать.
А собачий катыш пыльный,
хоть вином его отмой,
виноградиной не станет,
вкус не тот и аромат.

2014–2017

Педагогическое

В Кремле не можно жить – Преображенец прав,
Там зверства древнего ещё кишат микробы:
Бориса дикий страх и всех иванов злобы,
И Самозванца спесь – взамен народных прав.
Анна Ахматова

Ходит Спесь, надуваючись,
С боку на бок переваливаясь.
Ростом-то Спесь аршин с четвертью,
Шапка-то на нём во целу сажень,
Пузо-то его всё в жемчуге,
Сзади-то у него всё раззолочено.
Граф А. К. Толстой

…жить торопится и чувствовать спешит!
Князь П. А. Вяземский

Я год назад говорил молодым,
компьютерных гнёзд птенцам:

– Вас не бросали в огонь и дым,
где каждый шаг – к праотцам.
Войска нечестивых – учит Коран –
сметёт небесная рать.
Господь в засаде, знак будет дан –
и горы начнут стрелять.
Змеёй искр*и*тся реки изгиб,
обманчива тишина.
Я не был в Афгане, а друг погиб,
на миг забыв, что война.
Смотрел, как играет реки серебро,
как в небе парит шестикрыл.
И дух захотел сотворить добро –
его, пришельца, убил.
У каждого вера и правда своя,
Бог ведает, чья сильней.
У друга не выросли сыновья
и не было дочерей.

Он энтомологом стать мечтал
и перебраться на юг.
И королёк над могилой летал,
где был зарыт мой друг.
Ему и теперь двадцати не дашь
на фотокарточке здесь.
Виной тому кремлёвская блажь,
помноженная на спесь.
Не там мерило добра и зла,
а там, где шумит базар,
где в пропастях ветер гудит «Алла!»
и всюду – «Аллах акбар!»
Ах, как повезло нам – и вам, и мне:
живём и никто не убит,
не на войне мы как на войне –
бойцы виртуальных битв.
Но мирному времени есть предел, –
поверьте, я так сказал, –
и кто предназначен для добрых дел,
с недобрыми завязал, –
спешите, покуда шаги легки,
во всю молодую прыть,
ещё не один изгиб реки
пройдёте – спешите жить!

Они улыбались, авгуры сетей,
фейсбуковская шпана.
Двоих из стайки почти детей
теперь забрала война.
Третий, простреленный в трёх местах,
лишился правой руки.
Четвёртому пуля попала в пах.
Таким был изгиб реки…

Виной всему кремлёвская блажь,
помноженная на спесь.
Пусть Самозванец приходит в раж –
не воцарится здесь!
Его отутюжат мои пацаны,
они на своей земле.
Всё выше пламя священной войны,
когда Россия во мгле.
За слёзы Украйны, погромы в Чечне,
за Грозный, спалённый дотла,
воздастся ему и его солдатне,
и с нею отступит мгла.
Идёшь с недобром – так учит Коран –
Всевышний урежет срок.
Вчера мне сказал молодой ветеран:
– Усвоил я ваш урок.

Он знает, что есть у него народ
и есть у него страна,
что смерть с востока на нас идёт,
пока Россия больна.
Собьёт с неё он кремлёвскую спесь,
Украйна ли – волчья сыть.
Свобода есть у него и честь,
и он торопится жить.

Сентябрь 2014

Весна 2014

Алексею Паничу

Моя золотая страна
не тех ещё тварей видала.
В. Звиняцковский

Чёрный дятел долбит висок:
– Новороссия, Юго-Восток!
Мертвечиной старых идей
снова кормят простых людей.
Ах, святая та простота –
накричаться с пеной у рта
и нажраться, когда дадут…
Ты ли это, донбасский люд?
Мой приятель ходил в забой,
не пойдёт он теперь с тобой,
вожаки у тебя – чужаки,
уголовники и хорьки.
Холодны их глаза как лёд.
Ты за тех, кто поребрик берёт?
Кто твой дом заберёт и сад
и в тебя разряд*и*т автомат?
Простодушен был, не хитёр,
кто подбрасывал хворост в костёр,
но взлетела над сворой зевак
лучезарная Жанна д’Арк.
Скажут: давние времена…
Верю: Богом защищена
золотая моя страна,
как библейская купина!

20 апреля. Пасха

* * *

Евгению Рейну

Никакой из меня петербуржец
и москвич из меня никакой.

Акварели канавок и лужиц
и вселенский вертеп над рекой.
Но люблю-ненавижу до дрожи
и смеюсь, и боюсь потерять
этот Город, на вечность похожий,
из которой нельзя убежать.
Опьянённые Сеной и Рейном,
не завидую вам. Боже мой,
как светло было нам на Литейном
белой ночью, над тёмной Невой...

А Москва замерла обелиском.
Не увижу тебя, не найду
ни на Каменном я, ни на Крымском, –
на Заоблачном разве мосту.
Судьбы в узел завязывал предкам
этот Город, а я развязал,
но мне снится хрустальная клетка:
поезд прибыл на Курский вокзал.

1996

Имажинисты

Б. В. Аверину

На рёбрах рухнувшей страны
плясали, чтобы удержаться,
ох, циники, ай, крикуны,
ой, богохульники, паяцы...

Сер напост*о*вец и тверёз,
постмодернист из Бологого
не пялит зенки в бездну звёзд,
и нет в нём шарма никакого.

А в этих, право, что-то есть –
в душевном странном естестве их
золоторунный – что за шерсть! –
то ли изгиб, а может, вывих...

К трюкачеству я попривык,
но как привыкнуть: яснооκий
в лугах пасётся звёздный бык
и только им даётся в руки.

Значкам и прочим цацкам грош
цена, какой бы ни был нобель,
но если тёпленькой возьмёшь
строку – бессмертье, значит, дембель!

Нет проку в рифме ли, стихе –
борща не сваришь, дом не сложишь,
но не берут ни ржа, ни ложь их, –
спешат всё дальше налегке.

2008

Попытка разговора с Эмили Дикинсон

И мы – как родные – встретили ночь –
шептались – не зная сна –
покуда мох не дополз до губ
и наши стёр имена.

Э. Д.

Ты не знаешь меня
я приду к тебе лет через сто
поднимаясь? спускаясь?
по лестнице винтовой
только б не оступиться
а время лежит как плато
раскалённое солнцем
зависшим над головой.
Это трудно? легко ли?
войти в твою душу... Come in
сам себе говорю я
влюбившись уже в перевод.
Но не лучше ль с тобой помолчать
как молчу я один
когда тысяча лет
как туманное утро пройдёт.
В твоей маленькой комнате
шторы сомкнуты оттого
что таких убивает
невыразимая радость – рассвет
как нахлынувший Рай
ты уже заслужила его
много слов – это бред
и в одном умещается Свет
тот который не смогут
ни вычерпать ни расплескать

где любовь отменяет
ходы хитроумной игры
слово каплей стечёт
по листу и начнёт нарастать
зависая у края –
и в ней отразятся миры.
Так молчит одинокая птица
летящая вдаль
её крики нечасты
над гладью пустынной реки
даже слово печаль
у тебя словно чистый хрусталь
это отблеск Творенья
в мои опрокинут зрачки.

– Незнакомец – ты знаешь –
каждая капля жива
пусть бездонны слова –
я паузы тоже люблю
когда можно – как другу –
довериться кораблю
пока силу волна набирает –
и будет права.
Ты – я чувствую – друг
и так на меня ты похож
что свидание наше
едва ли переживу
спелым яблоком
упадёт моё сердце в траву
и покатится в ночь
не поймаешь – не подберёшь.

Этой Жизнью – подарком Отца –
мы блаженно полны
её всплески и краски и песни
уступим ли Мгле?
не подняться над лугом
отяжелевшей пчеле
но ещё она видит
земные медовые сны.
Так сказала она?
ускользают больные слова
или это плохой перевод
моего существа
на туземный язык?
а под нами дымится плато
между нами – стена и окно
а мы собственно кто?
как теперь разгляжу тебя
в белом средь белого дня?
пусть стихи твои сами
повсюду находят меня.
Когда ветер развеет
ещё остывающий прах
позови меня Эмили
дай удержаться в словах...

Май 1986

14 июля 1999

В зените года, на пределе века
трещит кузнечик, строем травы ходят.
Пусть дважды не вступить мне в эту реку,
но что-то в это время происходит.
Под вечер синий воздух розовеет
и облачко, светло и невесомо,
над нашим домом так знакомо реет,
так припадает к тёплой крыше дома,
что не могу я не поверить в чудо,
и вот кричу с балкона: «Вижу! Слышу!
Сойди сюда иль улыбнись оттуда!»
Пусть думают соседи: едет крыша...

1999

Апология птиц

Не постичь, для чего человек,
если так деловита синица:
всё устроит премудрая птица,
только мал её бархатный век.

Для чего человек – хоть убей,
не понять, и зачем разбираться,
если так говорлив воробей
и органа звучней соловей.
Можно ль лучше? Не стоит стараться.

А ещё петушок на заре,
улетающих стай перекличка,
когда криками воздух напичкан.
И дозоры грачей в декабре.

Показалась ворона ручной,
но я рад, как всегда, ошибиться:
её нрав – Шамаханской царицы,
и свобода – любою ценой.

Как давно разгадали стрижи
то, чего не сумел Леонардо,
изводить им пергамент не надо,
чертят в небе свои чертежи.

Снежнокрылой подруге своей
верен лебедь до самыя смерти,
и такого союза, поверьте,
днём с огнём не сыскать у людей.

Хлопотливая горлица-мать
разве не образец материнства?
Человеку пристали бесчинства,
расхотелось его понимать.

За стеной то ли пьют, то ли бьют.
Не убьют, но и мы в группе риска.
Птицы внемлют святому Франциску,
потому что о том же поют.

2009

Попугай профессора Шамбинаго (филологическая притча)

Б. Ф. Егорову

Не лепо ли такое помянуть:
у многих к «Слову» интерес и тяга,
но тёмных мест нетронутая суть
однажды приоткрылась Шамбинаго*.

Смыв ложных смыслов радужную грязь,
непонимание превозмогая,
он вслух читал, в квартире затворясь
с товарищем по жизни – попугаем.

Тот криком Дива требовал еду
и щёкот славий выдавал под лампой,
когда гремели соловьи в саду,
и ритмы отбивал когтистой лапой.

Слова он тоже пробовал на звук
и повторял трескуче-величаво –
когда его просил учёный друг, –
что миновало время Ярослава.

И нараспев, головушкой тряся, –
про Игорев поход и Осмомысла,
а дальше бормотал – понять нельзя,
но близились утраченные смыслы.

Хозяин слушал, наступал момент –
прозрение ложилось на бумагу.
«Мне помогал пернатый ассистент», –
всех уверял профессор Шамбинаго.

* *Сергей Константинович Шамбинаго (1871–1948), российский литературовед, фольклорист, театровед. Доктор филологических наук, профессор. Исследователь «Слова о полку Игореве».*

…Однажды он явился весь в слезах,
взъерошенный, на лбу – прилипший локон…
Студенты знали: помер вещий птах,
профессору смертельно одиноко.

Кому теперь он скажет: «Помогай,
товарищ мой и друг нелицемерный!»
Был белым магом этот попугай,
за облакы унёсшийся, наверно.

Недолго оставался на земле
его хозяин, жив одной молитвой:
«Прими меня, поля мои во мгле,
всё решено, как в той несчастной битве…»

На автомате лекции читал,
роняя звуки тихо и бесстрастно,
порой на семинарах засыпал,
а всё-таки учёный был прекрасный!

…В чём притчи соль? Вот жил да был чудак –
не карьерист, удачливый и мелкий, –
Науки рыцарь, ей служил за так
и доказал, отринув сонмы врак:
Жизнь – не безделка, «Слово» – не подделка.

А попугай здесь на каких правах?
Нелепо повторял, не понимая…

В нём тайна Жизни кроется живая,
как тайна «Слова» – в золотых словах.

Май 2018

Песенка для кенара Лёвушки

Пой, мой кенар золотой,
зайчик солнечный летучий,
пой, когда накрыли тучи
нас лавиною литой.

До чего же ты хорош!
Весел и упруг как мячик.
Успокоишь тех, кто плачет,
ни копейки не возьмёшь.

Песня двадцати колен,
бесшабашный птичий Моцарт.
Век бы трелить, щёлкать, клёцать,
как мне сладок этот плен...

За окном рассвет чуть брезжит –
на посту душа твоя.
И, как ты самоотвержен,
скоро стану петь и я.

Переливы и ходы
в измерения иные,
где мы снова молодые
и не ведаем беды.

Каждому дано сполна.
Каждому сполна досталось.
Есть воды живая малость,
горстка свежего зерна.

Боги мы, пока поём,
может, скоро крылья сложим,
но ещё такое сможем –
ты да я, да мы вдвоём.

...Слышу голос неземной,
клетки нет, как растворилась.
Пой, с тобою Божья милость,
ты свободен, кенар мой.

2016

Удод

Трудно не удивиться: удод!
То ли жар-птица, то ли урод.
Кажется, в твой облачилась наряд
жизнь моя, как вспоминаю подряд.

1997

Клоп-солдатик (песенка)

Булату Окуджаве

Не умолкает вешняя вода,
и ночью льдинок слышен перезвон.
Не быть весне, пока не выйдет он –
мой стойкий клоп-солдатик, господа!

Изнежен оттепелью даровой,
чуть не проспал, когда играли сбор.
«Кому сказать спасибо, что живой?»
не спросит он, не бард и не актёр.

Как хорошо, что перезимовал,
блестит на солнце новенький мундир.
Ты рядовой, а может, генерал,
и есть над нами старший Командир.

– Смелее в бой, солдатик дорогой! –
командует. – Не бойся майских гроз!

Но как боюсь я шевельнуть ногой,
когда ты под ботинок мой заполз.

В кирпичной кладке трещина красна –
за ротой рота движется на свет,
а впереди победная весна,
одна на всех, и будто смерти нет.

Май 1994

Время жуков

Листьям в дубравах могучих подобны людей поколенья.
Илиада. 6-я песнь, стих 146

Как мальчишка, первых дней июня
вожделенно ждать всегда готов –
время буйных трав, бессмертно юных,
время восхитительных жуков.

Целый год без них шумят дубравы,
с детства облюбованные мной,
ждут дубы, в печали величавы,
опадает жёсткий лист резной.

Но пришла желанная декада,
только б солнца в меру и дождя,
только б не было грозы и града,
а листва что малое дитя:

нежные ладошки к солнцу тянет,
каждая просвечена насквозь,
и резная сказка не обманет,
как в раю родиться довелось.

Жду, когда свершится это чудо,
верх преображения таков:
из-под старых пней, невесть откуда
двинулся разведотряд жуков.

Как поймут, что нечего бояться,
что июньский воздух как бальзам, –
сразу разойдутся, разлетятся
тысячи по рощам и лесам.

Позабыты страшные личины,
восемь лет кромешной темноты.
Коконов прорвали паутину
воплощенья грозной красоты.

Жук-олень как рыцарь древний скроен,
защищён хитиновой бронёй,
на турнирах он бесстрашный воин,
даме сердца верен он одной.

Голов*ы* державная посадка,
гордая осанка короля,
он живёт не прячась, без оглядки,
и, конечно, проживёт не зря.

По стволам не ползает – ступает,
а летает как античный бог:
колесница в небе громыхает.
Или то гудит волшебный рог?

А попробуй взять такого в руку –
схватит мёртвой хваткой, в клещи взяв.
Капли крови пусть тебе наукой
будут: так вести себя нельзя.

Только хватка матери-Природы
даже этой мощи посильней:
век жука – не месяцы и годы.
Десять дней...

Крылья не раскроются, неверным
станет шаг, когда наступит срок.
Не грозит слабеющий соперник,
не гудит в лесу волшебный рог.

Но всё видится листва резная,
и стволы сочатся янтарём.
Скоро сага кончится лесная,
так и мы когда-нибудь умрём.

Замер лес как поле после битвы,
и опять они в кромешной мгле,
латы храбрых рыцарей разбиты –
тысячи надкрылий на земле.

Крышечки легчайшие – в полёте
лишний вес опасен летунам.
Почему ж так мало вы живёте
и всегда так мало жизни нам?

Вот уйдем – Природе нет урона,
новые придут – закон не нов.
Как впервые зеленеют кроны
вековых дубов.

2015

Свадьба жуков (энтомологический мемуар)

1

О, Lethrus apterus, жук мировой,
неутомимый атлет-землерой,
непобедимый воин-герой
с несокрушимою шлем-головой,
украшенной парой грозных рожков!

Когда-то был он моим дружком.
Весёлого нрава бычок травяной
по вешнему яру гулял со мной,
не хищник – любитель зелёных блюд,
«вредитель» – так люди его зовут.
Не спорю, у кравчика был аппетит.
Природе виднее, кто больше вредит.

А я гостинцы ему приносил,
он сахар любил и ещё просил,
размачивал в родниковой воде,
тогда она била ключом везде,
это потом превратился в кошмар
рай заповедный – мой Саржин Яр.

2

Кравчики – колониальный народ,
по саржинским склонам мирно живёт,
где стрельбище было ещё до войны
и чёрных тарелок осколки видны.
Повсюду разбросаны также пыжи,
и эти хозяйственные мужи
их ставили вместо дверей входных.
Жуки работали без выходных,
тут каждый холм ходами изрыт,
и каждый дом, что пыжом прикрыт, –
от непогоды защита, уют,
подземный пускай, но и там живут.
У нас начиналась эра хрущоб,
а кравчики рыли, построить чтоб
не утопический социализм –
классический полевой реализм.
Зачем рассуждать, подменяя суть,
мол, кравчики примитивны. Отнюдь,
вот план типовой холостяцких квартир:
столовая, спальня, кладовка, сортир,
а также бассейн для отвода вод –
на случай, когда сильный дождь пройдёт.
И у семейных домик неплох:
уютных детских не меньше трёх.
Не строил тогда над землёй наш брат
таких удобных жилых палат,
а кравчики, народ трудовой,
прорыли их лапками и головой.

Мне кажется, слышу я этот гуд:
передние ножки-лопатки гребут,
я вижу: у норок вблизи и вдали
всё время растут пирамидки земли.

Ещё и такой имелся талант
у кравчиков – заготовлять провиант.
Как бритва их челюсти были остры,
и неустанно они, как бобры,
срезали побеги, косили траву
(названий растений не назову),
штабелевали, клейкой слюной
пачки скрепляя, одну за одной,
и, пятясь, втаскивали в дома –
так создавали свои закрома,
не выпуская из челюстей
охапки листочков, кусочки стеблей.
Вперёд запасались на год или два,
и в детских лежала в брикетах трава
задолго до криков личинок-детей –
такая забота редка у людей.
А кто примитивней – поди разберись,
давно уже наши надкрылья срослись.
Но не коллектив тут основа всего,
а вольный строитель, семейство его.
И этой доктрине привержен я сам,
при всём уважении к муравьям.

O, Lethrus apterus, мой славный сосед,
мы рядом, наверное, тысячи лет,
подобен твой город – в него я влюблён –
Иерусалиму библейских времён.
У края оврага шумит он, цветёт
и солнце, как брагу на пиршестве, пьёт.
Казалось бы, рай для счастливых жуков,
когда бы не клювы скворцов и дроздов.

3

Из книжек я вычитал, что они
имеют не только одни трудодни,
что кравчикам – скарабеи родня,
и это всегда волновало меня.
Мы каждый вечер с тем самым жуком,
с которым я был хорошо знаком,
садились у хаты его земляной,
и рядом жуки не спешили домой,
а солнце, ещё задержавшись на час,
лучами последними нежило нас.
И каждый, блаженствуя, замирал,
и продолжался наш ритуал,
пока не скатился пылающий шар
по склону и принял его Саржин Яр.
Неспешно расходятся до утра
жуки, да и мне уходить пора.
Приятель мой задом вползает в дом,
его прикрывая надёжным пыжом.

Так что это было? Молитва Ему,
благодаренье за Свет и за Тьму
(в которой кому-то тепло, поверь)?
Не знал я тогда, не знаю теперь.
Но кажется мне, что такою вполне
могла быть молитва на тёплом холме:

«Пылающий Боже священных жуков,
побольше нам дай вожделенных шаров,
а тем, кто своё получил-откатал,
открой милосердия вечный портал!»

4

Мой добрый знакомый, жучина-вдовец,
разбивший когда-то немало сердец,
однажды покоя лишился и сна:
о, запах волшебный! Конечно, она.
Молодка – блистающий юный хитин,
а усики, глазки – как с лучших картин,
нашейного зеркальца дивный опал –
как в омут в него мой товарищ упал.

И будто его подменили – три дня
он рысью проносится мимо меня,
сочнейшие стебли срезает, как нож,
и лист земляничный – вкусней не найдёшь –
находит для крали, стараясь привлечь,
и произнести мог такую бы речь:

«Я воин бывалый, весьма моложав,
пусть панцирь подъела немножечко ржа,
я тот ещё парень, силён и готов
с тобою родить поколенья жуков!»

А дева так томно скрипит на ходу,
как будто бы шепчет: «Красавчик, я жду!»
Ох, кравчик, став жертвой её красоты,
едва ли красавчиком выглядишь ты...
Такую попробуй ещё удержать,
забыл ты, что кравчик не может летать!

А жук не сводил с молодицы очей
и мнил себя родичем тех рогачей,
что выше живут, облетая дубы.
Мой друг не готов был к удару судьбы.
Влюблённым всегда не хватает ума.

На свадьбу созвал он четыре холма,
и каждому гостю хватило еды
и саржинской родниковой воды.
На стол подавали какой-то бурьян
и клевер нежнейший с далёких полян,
а на десерт – я предвидеть не мог –
весь в масле полынном чертополох.

На свадьбе у друга я шафером был
и сахара им полкило подарил,
сказав про себя: «Зря ты думаешь, брат,
что жизнь теперь будет – сплошной рафинад».
А свадьба гуляла вверху и внизу,
и друг мой не ведал, что кличет грозу,
не думал, что могут наставить рога
тому, кто их носит, не чуял врага.

Ах, как он старался, расширил жильё:
семь детских, отдельный покой для неё,
в столовой и коридорах – простор.
Где счастье – крадутся завистник и вор.
И как ни бодрись, ты уже старичок,
а рядом грустит молодой жучок,
в него-то красавица влюблена,
к нему убежит непременно она.

О том, что в дому у него адюльтер,
узнал мой товарищ от старых мегер,
подобных немало и в мире людей,
они пострашнее матёрых чертей.
Обманутый драться собрался всерьёз,
а наглый обидчик смеялся до слёз,

юнец опрокинул его без труда,
не причиняя большого вреда.
Страдает дружок мой, затравленный взгляд,
опавшие рожки мелко дрожат...
Пусть кравчик ты через дефис головач,
но безголовый, хоть смейся, хоть плачь.

Неделю красавица с ним пожила –
к дружку помоложе тихонько ушла,
квартирка поплоше и спальня тесней,
но юность права и девчонке видней.

Мы снова сидим вечерами вдвоём
и спелое солнце по капельке пьём,
как прежде, спокоен мой панцирный друг
и жизнью доволен – ему недосуг
теперь сокрушаться о благе земном.
Он задом вползает в пустынный свой дом
и вход прикрывает замшелым пыжом.

5

Давно это было – две жизни назад,
а может, четыре? Иль все пятьдесят?
У каждого племени времени счёт
свой, да и по-разному время течёт.
Куда? – мы едва ли получим ответ.
Давно уже кравчиков в Саржином нет.

Что было – то было, ничем не стереть,
и в памяти будет до смерти гореть:
весёлый, как Дидель, на остром плече
худая котомка – куда он, зачем? –

в соломенной шляпе любимый мой дед,
а лет ему сколько? Мне столько же лет
сегодня – об этом напомнил июнь,
вся жизнь на ладошке – помедли, не сдунь!

Ещё Саржин Яр первороден как свет,
многоэтажных уродин тут нет,
не высохли, не замутились ручьи.
Мы с дедом идём по нему как свои.
Волшебная тут земляника растёт,
сама отпадает и прыгает в рот.

2016

Болотная черепаха (мемуар о 1959 годе)

В тот год Хрущёв с Эйзенхауэром начали переговоры,
но впечатления на меня никакого не произвели.
Зато в Донце головастики шастали, как метеоры,
а к вечеру черепаху взрослые принесли

и говорят: «Посмотри-ка, болотная черепаха!»
Смотрю – не могу насмотреться на сказочно-дивную тварь.
На бабушкину шкатулку похожа – и нету страха.
Ещё не умел читать я, Донец был первый букварь.

Июль пятьдесят девятого: искр*и*тся песчаная отмель,
серебряная рыбёшка воздух глотнула опять,
а головастиков было, наверно, не меньше сотни –
это сейчас говорю я, тогда не умел считать.

Но примой была черепаха. Как жаль, что она не вмещалась
в кузов моего любимого игрушечного грузовика...
Не знал я тогда оттенков значения слова жалость,
это *меня* жалели, маленький был пока.

Потрогал я чёрный панцирь – в закатных лучах сверкал он,
спрятала голову-лапы, пялится: кто таков?
Старая черепаха ещё не таких видала,
а тут неразумный детёныш двуногих её врагов.

Сколько их, неспокойных, на земле развелось-то,
высушили болота и вырубили леса...
Но на меня смотрели, не обжигая злостью,
из-под тяжёлого панциря внимательные глаза.

На ночь её привязали к остову мёртвой ивы
верёвкой поперёк тела – когтями ей не достать.
Она к воде потянулась – верёвка её не пустила.
И я шептал, засыпая: «Завтра будем играть!»

А утром у остова ивы лежала одна верёвка,
старшие успокаивали ревущего малыша.
Джульбарс наш её понюхал и проявил сноровку:
след черепахи терялся в ближних густых камышах.

Между собой говорили взрослые о беглянке:
«Избавиться от верёвки камешек ей помог».
Напрасно бежал я к берегу, зря тащил спозаранку
взрослых к живой игрушке. Есть черепаший бог!

Не понимал, что узник не может играть на равных,
что не получишь дружбы, крепко его связав.
Мой поединок с Природой окончился так бесславно,
но на меня впервые смотрели её глаза.

Я ничего не понял – совсем ещё был головастик,
бездумно резвился на отмели, на берегу Донца.
Старая черепаха знала: в свободе счастье,
и за неё бороться готова была до конца.

Сентябрь пятьдесят девятого: встречи без протокола,
бывалые головастики взялись друг друга учить.
Эйзенхауэр терпит Никиты приколы-проколы...

Болотная черепаха была моей первой школой,
мудрая, как Тортила. А ключик не смог получить.

2015

Ящерица

Знаю: мой враг силён и непрост –
душитель жаб, разоритель гнёзд,
нет правил у нашей игры.
Может, придётся отбросить хвост,
но выползу из норы.

Пусть Солнце прогреет меня насквозь,
доверюсь, что бы со мной ни стряслось,
прямому его лучу.
Кузнечиков, бабочек и стрекоз
сегодня сполна получу.

Вперёд продвигаюсь, за шагом шаг,
ползу осторожно – зовёт Овраг
купаться в горячей пыли.
И замираю: близок мой враг,
чувствую дрожь земли.

Желания прочь – придётся терпеть,
ужасны тело его и сеть,
под землю скроюсь опять.
С таким верзилой не уцелеть –
не только хвост потерять.

Над входом в нору тяжело лежит
и шумно дышит, как лес шумит,
когда предвещает грозу.
Ещё подожду – и он убежит
белок гонять в лесу.

Вот двинулся, словно оживший пень,
бормочет какую-то дребедень,
ему не везёт в игре.

(Мальчишка расстроен: испорчен день,
напрасно встал на заре...
Но будет сниться ему теперь
зелёный в чёрную крапинку зверь,
не ящерица – Дракон.
Мальчишка откроет входную дверь –
и станет добычей он.)

Померяться выдержкою с врагом –
конечно, лучше, чем стать рабом,
игрушкой в его руках.

А Солнце пора ощутить нутром,
пока не грянул весенний гром
и жизнью гудит Овраг.

2008

* * *

В роще и поле, в овраге, у рва
каждая пядь земли жива,
кого там я только не находил,
пока скрывала меня трава.

Кузнечик на скрипочке мне играл,
паук высчитывал свой интеграл
и, наконец, прерывал концерт –
он по натуре был интроверт.

А я с ужом и ежом дружил
и жизнью пока что не дорожил,
и бабочки лёгкий аэроплан
над моим детством пестрел-кружил...

2001

Инфузория-Туфелька (школьный мемуар)

В биологическом кабинете
Жизнь являла нам разный масштаб,
там дюймовочку-стрекозу заприметил
исполинский камчатский краб.
Сашка уверял и чуть ли не божился:
когда он пришёл кабинет убирать,
засушенный краб дважды пошевелился, –
и я Сашке верил, не будет он врать.
Как-никак, семиклассник – не первоклашка,
обстоятельный был уже мужичок,
не то чтобы друг, – товарищ мой Сашка,
не раз попадал я к нему на крючок.

Но больше краба меня поразила
наша биологичка рассказом о
существах мельчайших и очень красивых,
мы их рассматривали в микроскоп.
Надо же, как ведут себя дерзко,
и не задушишь их, не убьёшь,
линеек и галстуков пионерских
не знают, а мир и без них хорош!
Смотрю влюблённо и обалдело:
инфузория-туфелька, Боже ж Ты мой,
как гармонично гибкое тело,
как оно нравится ей самой!
Не то, что амёба – клякса как будто, –
тут Кем-то задуман каждый овал,
и вся в ресничках... «Как это круто!» –
юный биолог теперь бы сказал.
Простейшее вроде она, но прекрасна,

и в ней на века – ДНК запас,
течёт и пульсирует цитоплазма –
похожа на Космос, вобравший и нас.

А биологичка – нет, Биологиня,
высокая строгая дама десятки лет
олицетворяла предмет свой, во имя
его готова была положить партбилет.
За школьным садом следила как за дитятей,
мы ей помогали – и отлынивали, шаля,
но она же была наших душ воспитатель
и двойку вкатила Сашке за то, что убил шмеля.

(Маленький преступник и меня обрабатывал,
говоря: «Вот к цветку подлетает, чтоб
полакомиться нектаром, а ты его, мохнатого,
двумя ладонями смело – хлоп!»)

Не на шутку он разозлился и дурой,
инфузорией-туфелькой её обозвал,
все смеялись: у обеих – вытянутые фигуры,
а ниже пояса пикантный овал.
Ещё намекал рассерженный циник
на неженский размер её стройной ноги.
Из-за шмеля и Биологини
мы с Сашкой тогда разошлись, как враги.
Но к ней пристала забавная кличка,
чей тайный смысл уводил меня ввысь:
Биологиня – не биологичка.
Инфузория-Туфелька, сама Жизнь!
Порой она казалась готической дамой,
неприступной, как тысяча крепостей,
но нам прививала любовно, как мама,
любовь к живому всех форм и мастей.

Через множество лет
увидеть её довелось мне:
неспешно по улице нашей Биологиня прошла.
Старость её красивой была, как щедрая осень.
На излёте весны она умерла.
Александр сказал мне тогда: «Какая жалость!
Два инсульта и помешалась совсем, говорят».
Но я видел, как она вишне в цвету улыбалась,
и ответил ему, улыбаясь: «Ошибаешься, брат!»
Инфузория-Туфелька двигалась гибко и плавно,
и незнамо куда, седая Биологиня моя...
Встретить снова бы мне нашу Анну свет Николавну
там, где слышен гудок убиенного Сашкой шмеля.

2016

Укрощение зверя (школьный мемуар)

Словесник, лютый зверь, едва ли честных правил,
садист и самодур, от Бога педагог,
«Онегина» учить нас наизусть заставил,
но до седьмой главы один я только смог.

И пользоваться стал его благоволеньем,
мальчишка в случае, почти что фаворит.
Когда читал «Я помню чудное мгновенье...»,
вот-вот, казалось мне, словесник воспарит.

Смягчался нрав его, колы он ставил реже,
и тройку получил, кто раньше был «дебил».
Работал я как дрессировщик на манеже
и властью голоса не злоупотребил.

Казалось прежде всем: старик капризный, хмурый,
но и в такой душе есть потайная дверь.
Не даст нам одичать любовь к литературе
классической поры, мой укрощённый зверь!

2017

Лайон

Улица портит нравы, пьяные и девицы
лёгкого поведения – разве его родня?
Как муравью Окуджавы,
                псу захотелось молиться
и, за неименьем богини, выдумал он меня.

Золотошёрстый дворняга, помесь терьера с ланью,
жилистый, длинноногий уличный сукин сын.
Сначала назвали Лаем. Гордое имя Лайон
пристало ему, душою он истинный был дворянин.

Прямо из подворотни, вроде бы щен безродный,
плод подвальной тусовки, блуждающего огня,
а нрав-то чистопородный, полон чувств благородных,
и есть чему поучиться всем, включая меня.

Нельзя сказать, что он чинно вёл себя на прогулке.
На пьяных рычал, за котами гнался, не жалея сил.
Был он без лести предан, и если лизал мне руки –
не только кормёжки ради. Лайон меня любил.

И не скажу, что легко мне быть для такого богом.
Конечно, меня он выдумал, но на исходе дня
мы затихали рядом, без слов говоря о многом,
и Лайон не сомневался – спокойно верил в меня.

О, если бы в моих силах было что-то поправить,
продлил бы я век собачий, не сетуя на судьбу,
чтобы ты мог свою голову
                под руку мою подставить
и гладил тебя я без устали по шерстяному лбу.

Май 2010

Прощание

Ваших шорохов сторож и стонов я,
кошки мамины и коты.
Ваши тени гуляют по дому и
поднимают важно хвосты.

Сколько тропок осталось невидимых,
неведомых мне уголков!
Вы простите, кого обидел я,
невнимателен, бестолков.

Вы не зря сохраняли дистанцию,
честь кошачью, рыча, берегли.
И зрачки ваши с протуберанцами
мою чёрствую душу прожгли.

А когда вы старели –
                сближались мы,
затихали, почуяв смерть.
Из любви, а не только из жалости
не давал я вам умереть,

расставанье наше оттягивая,
всё лечил и закутывал в плед.
Но в зрачках угасала магия.
Бродят тени теперь.
Мамы нет.

Август 2003

Просьба

Зимний день заходит в стих,
гаснет солнце в белом дыме.
Много раз любил чужих,
показавшихся родными.

Кто-то словом искушал,
кто-то телом безупречным,
кто-то уводил в астрал,
соблазняя жизнью вечной.

Сам, конечно, не святой,
сам с пути сбивался, падал.
Благо, не был сиротой –
вы светили тихо рядом.

Коченеет – станет льдом
остывающая речка.
Вы на берегу другом –
не забудьте человечка.

Был вам дорог – видит Бог,
вы мне дороги и ныне.
Обождать – недолог срок,
скоро речь моя остынет.

Замолчу и перейду
к вам, моим родным, хорошим,
к вам – по молодому льду,
первым снегом припорошен.

15 декабря 2013

* * *

Памяти Зураба Бородзе
и сына его Мамуки

Наглотался пространства и света,
память слаще медовых сот.
Мне огни сухумского лета
светят в душу который год.

…Дом распахнут, и дорогие
гости входят, друзей обняв.
Померещилось вдруг: в крови я, –
мне Мамука пролил на рукав
изабеллы живую малость,
извинился как джентльмен...
Только год ему жить осталось,
чтоб погибнуть у этих стен,
защищая свой виноградник,
дом, веранду, где мы сидим.
А теперь он – небесный ратник,
и отец неотступно с ним.

Ветерок затерялся в соснах,
как бельчонок, в дупле дрожит.
Возвращайся, пока не поздно,
мой лирический... инвалид.
Поскорей превратися в камень,
доморощенный мой Эней,
стань бездумными облаками
и беспамятством зимних дней.

Ноябрь 2013

На мотив Леопольда Стаффа

Памяти Виктора Рубановича

Дружок мой, воробей, надёжа прыткий,
весь мир – твоя страна, обрёл гражданство
на всех дорогах ты, непостоянство
погоды – бич твой, но малы убытки.

«И наплевать, что никому не жалко
меня – ни городским, ни деревенским.
На сквозняке стоит-скрипит вселенском
под крышей моя щёлка-коммуналка».

И в эту пору ты спасёшь, я верю,
комочек свой, квазар тепла и страсти.
Как сердце, бьётся он, зимы во власти,
и надо жить, переживя потерю.

Я друга потерял – но у окна ты,
сквозь дым зимы чир*и*к твой бодрый слышу:
«Держись, держись!» И я держусь, малыш мой,
перед тобою тоже виноватый.

Декабрь 2007

Фотоснимок 1970 года

Торжественно посвящаю
С. В. Михалкову

Вот мы – в людском потоке,
едва началась Сумская*, –
юные бандерлоги,
нет никого моложе.
Это в музей водила нас новая историчка –
чуточку истеричка,
но тётка незлая
всё же.
Год юбилейный двинул,
Ильич, как бельё, развешен
всюду, неугасимо
лбищем своим сияет.
Прошлое как картинка:
красный кентавр Будённый,
с ним Ворошилов конный
счастье нам добывают.
Верим, хохочем, верим
Лысому и С бровями,
верим в Бога с чертями,
бабушкам потакая,
чувствуя юной кожей
ласковый ветер южный,
что же
ещё нам нужно?
Едва началась Сумская...

Май 2007

* *Главная улица в Харькове.*

* * *

Сергею Шелковому

Высшие Силы знали, нам прочертив судьбу:
этих в любви зачинали, трепетно и светло.
Глупый младенец плачет, но с первых агу-агу
место ему обозначено, время уже пошло.

Мир зазвенел, запрыгал щеном и воробьём,
хлопчиком-торопыгой, всё ему тут впервой.
Кто в кулачок попался? – Часик жужжит: «Живём!»
Ленин нам улыбался, дедушка вечноживой.

Дайте срок, докумекаем: будет всему каюк,
будут болезни, лекари, лозунги и силки,
слышим: «Близится эра светлых годов...» поют
первые пионеры – усохшие старики.

«Да здравствует дело гиблое, ложным виват словам!» –
тоже кричим, но Библия лежит на краю стола:
не обгоняя пророков, идёт святой Иоанн,
предупреждает о сроках, чудится клёкот орла.

Разве мы *только* смертны? Бессмертия торжество
в речи, то гневной, то мерной, то различимой едва.
Стала судьбой наука быть глазом и слухом всего.
Чу! Шевелятся в куколках лучшие наши слова.

2007

Полковник Бобров

Бодры и молодцеваты, ходили фронтовики.
Двадцатилетье Победы, и вроде крепка страна.
А мы, мальчишки, бежали за каждым орлом таким,
на нём звенели-сверкали медали и ордена.

Вот лётчик-орденоносец, прославленный ас Бобров [*]
на митинг идёт, в горкоме сказали: «...и Штаты крой!»
Я смело шагаю рядом, пусть с виду Бобров суров,
и спрашиваю отважно, чем отличился герой.

Сразу мне отвечает ещё молодой ветеран:
«На митинге всё узнаешь, только б не знал войны.
А жить на земле труднее, чем идти на таран:
в небе всё ясно и честно, если цели видны».

Бобров терпелив и мягок с назойливой ребятнёй,
и даже трудно поверить, что был он тогда стальным,
что называли немцы его небесной чумой –
летал он, как бог-олимпиец, как не дано иным.

Но лично товарищ Сталин – подскажет архив: не раз! –
имя его вычёркивал красным карандашом,
когда он шёл на Героя и выпекался указ, –
опасный изъян у Боброва бдительный вождь нашёл.

«А родствэнник – враг народа. Какой из нэго Гэрой?
Дла маладожи нашэй нэ лючший будэт прымер», –
так рассуждал Верховный Изъян наш и Геморрой,
вождь всех времён и народов, убийца и лицемер.

---

* *Владимир Иванович Бобров (1915–1970), военный летчик, полковник Советской Армии, Герой Советского Союза (звание присвоено посмертно в 1991 г.), лично и в группе сбивший более 60-ти самолётов противника.*

Если война – не помогут коварство, злодейство, лесть.
Славься, личное мужество – главный оплот страны,
когда в цене благородство, честность, отвага, честь,
и в мире, как в небе, ясно: чётко цели видны.

Когда Союз развалился, вспомнился мне Бобров.
Цель оказалась блефом, ушла в никуда страна.
Но в мае идут, как прежде, шеренги фронтовиков –
в небе ночном сверкают медали и ордена.

Сентябрь 2016

Пессимистическое

Пробит надежды щит,
валяется в углу.
Историю вершит
мурло вослед мурлу.

И каждый одержим –
от пяток до бровей –
свой насадить режим,
чтоб стать ещё мурлей.

Один – трибун и жрец,
и множество личин,
ловец простых сердец,
а проще – сукин сын.

Другой боится слов
(глядишь, сорвётся «мать»),
но к власти он готов,
чтоб каждого достать.

Новорождённый вождь
на обещанья скор,
орангутана мощь
и кабана напор.

Сияет как пятак,
темны его дела,
и гордо реет стяг
державного мурла.

Кто ропщет, кто молчит –
терпи, народ, смотри:
пробит надежды щит
и в силе упыри.

Ты выбрал по себе
и проиграл опять,
так нечего теперь
на зеркало пенять.

Февраль 2010

Война миров (невесёлая притча)

Недавно ещё марсиане на Марсе водились, добром и покоем светились их красные лица, не гнев безрассудный и не партийная принадлежность румянца багрового были причиной – избыток железа. Повсюду стояли дома их, удобны, уютны, и каждый смекалистым был, что наш Ломоносов. В согласии жили они, трудились и пели – так громко, что стали слышны на Земле их весёлые песни.

А там, на Земле, водились тогда людоеды различных пород, эксплуататоры и коммунисты, чекисты и террористы, и прочая сволочь, бандиты районного и мирового масштаба. Друг с другом отнюдь не дружили они – воевали, а больше всего ненавидели «выскочек этих» на Марсе. Их существованье считалось тут крайне опасным экспериментом – земляне в том были едины и проклинали безвинных, крича исступлённо: «Долой краснож..ых рептилий, они виноваты во всех наших бедах, неурожаях и войнах! Пора нам, пора помириться, объединиться и водородные бомбы на извергов сбросить!»

Хоть план недурён, не хватало мерзавцам уменья, всё мимо нескладные их корабли пролетали. И не было в целой Вселенной планет счастливее Марса – обители миролюбивых, душевных и благоразумных.

Но что же тогда извело марсиан, погубило? Гипотеза есть: вирус злобы земной постарался! Таким недобром наливались земляне, кричали так громко, что вирус достиг без труда марсианской орбиты. Дома опустели, моря испарились и реки, осунулся Марс, онемел, только буря гудит пылевая...

Когда же не стало далёких врагов ненавистных, сцепились опять меж собою, взорвали друг друга злодеи, и вымерло всё на Земле, даже голуби – символы мира. И некому стало теперь искать виноватых.

Март 2014

Мизантропическое

На Марсе – холода стена,
поблёкли небеса,
а камни – будто с бодуна
циклоп их разбросал.

Но тянет меня, хочется
в немой тот мир попасть,
люблю я одиночества
таинственную власть.

Скитаться с утра до ночи
и думать думы впрок,
и – ни единой сволочи,
всё камни да песок.

Надеюсь, тем не менее,
себе не надоесть.
Ах, было б настроение
и кой-чего поесть.

…Но настроению хана:
я строю на песке,
мне сволочь –
хоть одна –
нужна
в работе и тоске.

2015

Российская фантасмагория

Л. Г. Фризману

Декабристам удалось,
нарушителям присяги,
и над Зимним взмыли флаги
тех, кто вышел на авось.

Всех Романовых – в Сибирь,
и диктатор просвещённый
бегает как заведённый,
уйма дел и планов ширь.

Выступает как поёт:
«Закатился век бездушных,
эра честных, прямодушных,
милосердных настаёт!»

И Парламент весь в делах,
всюду слышно о декретах,
бают о молочных реках
и кисельных берегах.

Составляют Кабинет,
победителям – портфели,
тем, кто раньше тут сидели,
волчий выдадут билет.

Конституция у нас
посильней американской:
можно пить холодный квас,
добавляя мушки шпанской.

В прошлом гнёт и произвол.
Новый рубль из драгметалла:
аверс – солнце Правды встало,
реверс – встрёпанный орёл.

Настрадавшись при царе,
ждём повышенной зарплаты,
пишем оды и кантаты
о Великом Декабре.

Всё-то к лучшему идёт,
если бы не воровали,
если бы не предавали –
много раз, из года в год...

Заговоры там и тут
подлые плетут уроды,
в Трибунал врагов народа
круглосуточно ведут.

Да́бы в мыслях кривизны
не было – эксперименты,
романтизьм и сантименты
навсегда отменены.

Да́бы тать какой в ночи
не обидел гражданина,
днём и ночью палачи
запускают гильотину.

Внук Кулибина Панкрат
колдовал в её утробе,
и теперь перпетуум моби-
ле сей чудо-аппарат.

Грозен, непоколебим
наш диктатор непременный,
полон истин вдохновенных,
умереть не страшно с ним!

Окружают нас теперь,
угрожая, супостаты,
но не зря сказал когда-то
наш поэт: «Товарищ, верь:

как дадим врагу под дых,
запируем на просторе,
каждый позабудет горе,
кто останется в живых».

Долго на печи лежал
(слава – это не игрушки),
но в Америку сбежал
Александр Сергеич Пушкин.

Там, за года два всего
*а*глицкий язык освоив,
он почти из ничего
новых создаёт героев.

Песни гневные поёт
против рабства и прислугу
чернокожую гнетёт,
верную свою подругу.

Раз в крещенский вечерок
у камина слева-справа
собирает он в кружок
смуглых отпрысков ораву.

Что на этот раз прочтёт,
знают бестии заране:
свой недавний перевод
сказки о царе Салтане.

Но не кончил, загрустил,
тошно стало, не до книжек,
спать досрочно отпустил
кучерявых ребятишек.

И не море-Окиян,
а Рассеюшку родную,
ледяную, избяную
видит он, без пунша пьян.

Той, что не постичь умом,
чует ровное дыханье,
где величия с дерьмом
так привычны сочетанья.

Он как пёс цепной рычит,
цепь разгрыз и кольца гложет.
«Иль приснилась мне?» – кричит
и никак уснуть не может.

Африканец и русак,
и американец сущий,
он гадает, весь в слезах,
о судьбе её грядущей.

Необъятная страна
сердце гения терзает.
До сих пор не понимает
самоё себя она…

Февраль 2017

Екатерининский век

1

Княгиня начиталася Руссо
и удалилась голою в леса,
но возвратилась через полчаса,
шепча невнятно: «Ме…некарасо…»,
зане в язык ужалила оса.

С тех пор ей ненавистен стал Жан Жак,
духовная с ним связь оборвалась.
Твердила: «Он опасных полон врак!»
И крепостных порола, осердясь.

2

Графиня с изменившимся лицом
гналась за извращенцем-наглецом,
крича: «Ой, не люблю я полумер!
Не бойся, мне понравилось, mon cher!»

3

Любвеобильный генерал-аншеф
в постелях был неутомим как лев
и равных не имел. Заметим лишь:
с полей сражений бегал он как мышь.

4

Большой екатерининский орёл,
Потёмкин славу громкую обрёл.
Однажды он, когда в походе был,
супругу генерала соблазнил.
А утром, чтоб победу закрепить,
князь приказал из пушек всех палить.

Но рогоносец был из храбрецов,
не выстрелом сразил его – словцом,
сказал в кругу штабных, презрев тоску,
прегромко: «Экое кукареку!»

5

Суворов, полководец хоть куда,
кукареку кричал и куд-кудах,
чем эпатировал жеманный двор,
где и светлейший князь – первейший вор.

Братка-солдата крепко он любил,
Варшаву взял и братски придушил,
мог даже Бонапарту навалять,
и написал «Науку побеждать».

Чудил всю жизнь, а голова – светла,
всех побеждал, Империя росла.
По матушке вельможу мог послать
и матушкой царицу называть.

Сто крепостей он взял – и был таков,
одну не штурмовал – Ея альков.

6

Отечества заботливая мать
на лаврах не желала почивать,
трудясь и день, и ночь – лет 25,
и фаворитам не давала спать.
«Приятное с полезным совместим», –
рекла Фелица, забирая Крым.
Был ангельским у Кати голосок.
Глядишь, и Польши прибрала кусок.
Так царствовать другой бы не сумел –
не отвлекаясь от альковных дел!

2014

Размышленія по случаю лѣтняго дождя

Дождь, поливъ родную землю,
Поспѣшилъ въ края иныя.
Солнце зрю, нутромъ пріемля,
Нѣжитъ матушку Россію:
Долы, рѣки, рощи, нивы,
Селы, города, столицу
И саму Императрицу!
Всьо умыто, всьо красиво,
На древахъ щебечутъ птицы.
Люди рады и подавно,
Льзя ль о томъ судить превратно:
Просвѣщеніе столь явно,
Сколь оно невѣроятно.
И, закончивъ сей разсказикъ*,
Подпишу-ка эти строки:
Божьей милостью проказникъ
Сумароковъ.

1972-го года,
Генваря мѣсяца 14-го дня

* *Лучше бы, конечно, «разсказецъ», в наличии и другие языковые анахронизмы, но есть смягчающее авторскую вину обстоятельство: сия ироническая подделка изготовлена мною 14-ти лет отроду. (Примеч. автора.)*

Князь Пётр Андреич

Напрямик говорил, как истина прост:
между мыслью и мыслью тут пять тысяч вёрст.
И просил Александра: «Избавь меня, брат,
от географических фанфаронад.
Нечего щёки тебе надувать,
чудище обло – Империя-мать.
Какую
благую
несёт оно весть?
Ему бы кавказцев, поляков уесть».

Князь Пётр Андреич, два века прошло,
один вообще насмарку, считай,
другой как шалтай-болтай – не свезло.
Сибирью теперь прирастает Китай.

Июнь 2016

Как веселились предки (почти с английского)

Пели… пили…
поле… пули… пали.
Юрий Иваск

Неспешное время, всё праздников нет,
а жизнь утекает,
и каждый вздыхает:

– Она прохудилась, как старый жилет,
как снег залежавшийся тает.
Поедем на ярмарку вместе, друзья, –
Грицьк*о* Сопиленко,
Олесь Гончаренко,
Ив*а*шко Гулак
и Хв*е*дько Гусак,
Петренко Илья,
Яр*е*мко Круглевский,
Левк*о* Лосиевский, –
а это, конечно же, я!

– Соседушка, не одолжишь ли коня?

По горкам, оврагам
весёлой ватагой
помчимся, измять не боясь зеленя,
чтоб жизнь стала благом.
А девки начнут щебетать у плетня:
Грицько Сопиленко!..
Олесь Гончаренко!..
Ивашко Гулак!..
Ой, Хведько Гусак!
Петренко Илья!..

Яремко Круглевский!..
Левко Лосиевский!..
И это, конечно же, я!

– Берите, да только верните живым!

По горкам, оврагам
весёлой ватагой
несёмся, хранимые Богом одним,
и жизнь стала благом!
Как будто очнулись от небытия
Грицько Сопиленко,
Олесь Гончаренко,
Ивашко Гулак
и Хведько Гусак,
Петренко Илья,
Яремко Круглевский,
Левко Лосиевский, –
и это, конечно же, я!

А ярмарка знатная нынче была,
мы славно скупились,
в обратный пустились,
лошадку стегаем: «Родная, пошла!»
А как веселились!
Давно не гуляли так славно друзья –
Грицько Сопиленко,
Олесь Гончаренко,
Ивашко Гулак
и Хведько Гусак,
Петренко Илья,
Яремко Круглевский,
Левко Лосиевский, –
а это, конечно же, я!

Немножко и выпили – как без того,
по горкам, оврагам
весёлой ватагой
летим, – а лошадка у нас ничего!
Держись, колымага!
Мы дружно и тесно сидим, как семья, –
Грицько Сопиленко,
Олесь Гончаренко,
Ивашко Гулак
и Хведько Гусак,
Петренко Илья,
Яремко Круглевский,
Левко Лосиевский, –
а это, конечно же, я!

Проходят среда и четверг, и февраль, –
по горкам, оврагам
летучей ватагой
промчались – и жизни пропащей не жаль
под выцветшим флагом.
Зато мы весёлыми были, друзья, –
Грицько Сопиленко,
Олесь Гончаренко,
Ивашко Гулак
и Хведько Гусак,
Петренко Илья,
Яремко Круглевский,
Левко Лосиевский, –
и это, конечно же, я!

...А всё-таки жалко, что не добрали*ись*,
товар потеряли
и сами пропали,
сгубили лошадку и отдали жизнь...
Зато не скучали!
Нас время догнало и смяло, друзья:
Грицько Сопиленко,
Олесь Гончаренко,
Ивашко Гулак
и Хведько Гусак
легли на германской.
А кто ж на гражданской?
Петренко Илья,
Яремко Круглевский,
Левко Лосиевский*, –
и это, наверное, я...

2017

* *Лосиевский Лев Дионисьевич (1887–1920) – царский и белогвардейский офицер, ветеран первой мировой войны, кавалер пяти боевых орденов. Старший брат деда автора, глава харьковской семьи Лосиевских в 1915–1920 гг. после смерти отца, Дионисия Алексеевича. Расстрелян большевиками в Севастополе.*

Старые открытки

– Христос Воскресе, Тата!
Встретимся ли опять?
– Жоржик, я виновата,
не отпускает мать.

Страсти открыток старых,
звёздочек дальний свет…

– Мамочка! Опоздала!
Жоржа в Женеве нет!

– Таточка, если любит,
верь – и любовь найдёт.

А через год наступит
первый военный год.

Буквы сошлись у края,
скоро исчезнет ять.

– Таточка дорогая,
время ли горевать!
Всё у Господа в руце,
будем все спасены.

А через год – революция,
будто мало войны.

А дальше – и не заглядывай.
Или смотри не дыша:
летит открытка нарядная
и бабочкою – душа,

не находя адресата,
в бездну железных лет.
Мамочки нет и Таты,
Жоржа на свете нет.

1991

Короленко

И. М. Дзюбе

Комиссары ставят к стенке,
пьют, насилуют и бьют...
В кабинете Короленки
незатейливый уют.

На столе бумаг завалы,
что-то пишет и молчит,
речь его болезнь сковала.
Где-то пулемёт стучит.

Злой гуляет ветер в поле,
нет исхода мятежу.
Головокруженья, боли,
жизнь подходит к рубежу.

Но опять он о бесправье,
как и тридцать лет назад:
«Новое самодержавье
горше прежнего стократ».

Обличает, негодуя,
власть, пришедшую взамен,
кроет волю воровскую,
площадных её сирен.

Руки-ноги холодеют,
светел ум и вечен бой:
«Прикрываетесь, злодеи,
вы свободою нагой!»

Знал бы: хуже будет, гаже,
всё надолго и всерьёз.

Комиссар врачу подскажет:
«У писателя склероз,
ослабел, понять не в силах
революции момент.
Беспокойный и строптивый,
очень трудный пациент…
Т*е*рпим. Разве он помеха
делу нашему? Ничуть».

Спят в гробах Толстой и Чехов.
Благо – вовремя заснуть.

2016

* * *

Чтоб разум сохранить,
пойдём в словарь толковый!
И будем жить с тобой,
как мышки в сыре,
нанизывая буковки на годы.

...Ах, нету нам покоя даже там:
зияют всюду страшные примеры,
и обоюдоострые цитаты
из классиков нас нехотя добьют.

От них не спрятаться и на Сабурке*,
где Гаршин может запросто явиться:
глаза как блюдца, слёз людских полны,
и Велимир из фортки захохочет...

2001

* *Сабурка, Сабурова Дача – неофициальные названия психиатрической больницы в Харькове, на территории бывшей усадьбы П. Ф. Сабурова.*

* * *

Жил-был поэт Валерий Брюсов,
блистал искусством и умом,
но большевистского искуса
не выдержал – поплыл дерьмом.

Поэту нет страшнее кары:
звучат в пустеющей душе
режиму подлому фанфары,
как будто нет её уже.

О, член РКП(б) ! Не буду
жалеть тебя, наверняка.
…А прежних строчек изумруды
посверкивают сквозь века.

2017

Римская фреска

Элагабалу не спится, скомкано покрывало.
Только к утру забылся, шепчет слуга: «Не к добру…»
Снится ему богоравный юноша Каракалла,
ещё не вкусил он власти, пока не вступал в игру.

«Двое орлят у Севера», – затягивают поэты.
Неумолимо, невидимо в душе прорастает зло.
Скоро убьёт Каракалла брата родного Гету,
римлянам с императором редко когда везло.

Веспасиана и Тита трогательные примеры
Каракаллу не трогают, Элагабала смешат:
стоит ли сеять в душах зёрна добра и веры,
ломаного денария не стоит ничья душа.

Раб ты или хозяин, будь императором даже
после пяти триумфов – всё уже решено:
предательский нож заточен,
подкуплена будет стража,
мальчик подсыплет яду в похлёбку или вино.

Элагабалу страшно с чужими быть и родными,
и, притворяясь спящим, Элагабал начеку,
чтобы живым проснуться в забытом богами Риме,
не человеком – зверем, готовящимся к прыжку.

«Гелиос всемогущий, выйди в огне и силе, –
молится император, волю давая злу. –
Испепели сей город, где и меня… убили».
Маленькая наложница всхлипывает в углу.

2002

Колонна

Памяти Александра Плеханова,
22-летнего киевского архитектора,
убитого на Майдане 18 февраля 2014 года

Два дня с корабля сгружали, на третий поволокли
на самый высокий холм, парящий в небесной раме.
Рабы надрывались, падали, распластываясь в пыли.
Мрамора зверь белозубый был приручён мастерами.
Работа кипит, и крошка, нетающих льдинок взвесь
колет им руки и плечи, летит в загорелые лица.
Храм богу они слагают как величальную песнь,
чтоб дух его вездесущий тут захотел поселиться.
Какой без аг*о*ры город, без храма город какой?
Поднимется храм – и наладится жизнь потихоньку.
Светла и стройна колоннада над выгоревшей травой,
неистребима вера, что бог не пройдёт сторонкой.

Море внизу играет, над ним синевы разлив,
для Зевсовой колесницы – просёлочная дорога.
Проедет и храм заметит, милостив и гневлив,
в то время боги, как люди, капризными были немного.
Проехал – и не заметил. «Мало ли смертных тут,
разве я им сиделка, сумеют – спасутся сами».
И в полун*о*чный город скифы неслышно войдут
в грубых звериных шкурах, с острыми тесаками.
Спит дозорный, не слышит: кони ржут вдалеке.
Похолодало, снега падают первые хлопья.
П*о*дал знак одноглазый вожак с булавой в руке –
стрелы летят и дротики, в деле мечи и копья.
Кто-то упал на пороге, кто-то, живой пока,
вступает в переговоры, гостей освещая лампой:
«Может, вы перепили кобыльего молока?
Вас исцелят и согреют вина из наших амфор».

Не нужен кочевникам город – только б чужим добром,
цацками золотыми свои нагрузить кибитки.
Молнии не сверкают, не громыхает гром.
Дежурный божок, зевая, подсчитывает убытки.

Скифы перекатиполем носятся по земле,
сеять они не умеют и не живут домами.
Промчались – навеки скрылись в тысячелетней мгле,
прямо в Аид скакали, коней обжигая кнутами.

Дымился растерзанный город, оставшиеся в живых
сжигали тела любимых, и долог был плач похоронный.
И мастеров проводили – девять из десятерых.
Храма не стало тоже – одна устояла колонна.
...Стоит и сегодня, сияя божественной белизной,
а вечером розовеет её нетленное тело.
Увидел я это впервые ранней крымской весной:
над молодой травой она в синеву летела.
Как чередуются строго грани и желоба,
словно морские волны прошли по стволу и застыли.
А капит*е*ль – как будто гривастая голова:
давно отгремевшего бога смертные подзабыли.
И белоснежные брызги повсюду в траве и песке –
то мрамора плач об утрате гармонии форм и пропорций.
Зеленоглазая ящерка в каменном завитке,
о Гелиосе не зная, блаженствует, греясь на солнце.
Не упади, колонна! Мифическая пора
теперь мне всё чаще снится поэмой высокого стиля.
Так ладно и вдохновенно работают мастера,
что верится: жизнь состоится, и никого не убили.

Июнь 2016

Песня Харальда Сурового о любви к Елизавете Ярославне

Вече мечей, уговор топоров…
Победа с бедою близки:
вражий верзила живот распорол
мальчишке у Чёрной реки.
Датский он принц, не умеет просить,
как я не прошу, не молю
ту девушку, что живёт на Руси
и мне не скажет: «Люблю».

Принц не жилец. Улыбнулся едва,
сжимая меча рукоять,
шепнул мне:

– Поведай же, какова,
пока соберусь умирать.

– Гордыни рысь и полыни мёд,
но ласковой вижу во сне
ту девушку, что на Руси живёт
и равнодушна ко мне.

О ней тоскую я на земле,
и в море лелею весть.
Шестнадцать нас было на корабле,
а сарацин – не счесть.
Но вот исчезли они без следа,
я Константинополь спас.
А русская девушка так горда,
что скучен ей мой рассказ!

С почётом встречал меня князь-отец,
с любовью – княгиня-мать,
собою хорош я, и сто сердец
готовы мне девы отдать,
и каждая в меня влюблена,
у каждой кровать пуста,
но в киевском тереме есть одна,
которая ст*о*ит ста.

Ресницы – длиннее зимних ночей
и звёздный холод в глазах,
но сам не свой я хожу за ней,
не в силах слово сказать.
Я горы золота ей привозил,
ответного ждал огня,
но гордая девушка на Руси
не вспоминает меня.

Как морж могу переплыть я фьорд,
нет краше моих коней,
кто лучше меня копьё метнёт,
на арфе сыграет ей?

Рука мальчишки – лапландский лёд,
но шепчет, верой горя:

– Девушка, что на Руси живёт,
будет… знаю… твоя.
Крылья валькирий… слышу… поют,
их руки нежней шелков.
Несите душу мою в приют
за кромкою облаков.

Январь 2011

Фоны гравюр Дюрера

Е. К. Дейч

Мастер Альбрехт о фоне редко когда забывал,
и всегда интересно, что у него за плечом:
мельница, стая птичек, оборонительный вал,
дома-крепыши, где знают, что, зачем и почём.
Вот соборная площадь, в небе – Собора стрела,
вон торговки судачат, советник важно идёт.
Куда свернул переулок? Туда и вся жизнь ушла,
будто наша галактика свёрнута наоборот.
Есть у Творения Мастер, сомнение – тяжкий грех,
но соучастье художника ощутимо везде.
О большем не помышляет смиренный мастер Альбрехт,
разбрасывая камушки, схожие с литерой D.
Фон могут создать пейзажи: горы, долины, холмы,
поднявшиеся над морем. А кто на холме? Пастух,
мирно пасётся стадо, похоже, что это – мы,
голубь летит над нами, а может быть, это – Дух.
Трудно ли догадаться, что фон не всегда тут фон,
верить: Дух веет, где хочет, свивая душу творца.
Не выцветет его краска под солнцем новых времён,
и смерчи его минуют, не затеняя лица.

2009

Корабельный лес
(последняя картина И. И. Шишкина)

Пойдёмте, Иван Иваныч,
между стволами – мгла,
ладный лес корабельный,
не знает, что обречён.
Справа была уже вырубка,
слева тоже была,
мы как будто на острове.
А горевать-то о чём?

– О жизни, весеннем бунте
силы и красоты,
о мощи солнцелюбивых,
когда так близок зенит.
А каково им будет
падать с такой высоты?
Чай, Лесоруб молчаливый
с казнью повременит.

День уже на исходе,
не было горячей,
травы к земле припадают,
спасу нет от жары,
но сквозь песок повсюду
живчики бьют ключей,
звон их – как птичий щебет
и голоса детворы.
Не утомились? Ладушки,
пойдёмте-ка отдыхать.
Куда вы, Иван Иваныч?
Дом в стороне другой,
там нас напоят-накормят,
мягко постелют спать.

– Маменька колыбельную
поёт над люлькой пустой.

– Ванечка, страсть какая –
век пропадать в лесах,
волки там, дело к ночи,
время идти домой,
сыщешь лес корабельный
ты и на небесах,
поторопись, сыночек
вечнозелёный мой...

Куда вы, Иван Иваныч,
бросив палитру, мольберт,
красок вам, что ли, не жалко?
– Работа завершена.

Лес расступился, светел,
и ничего, что – смерть,
сныть-трава на рассвете
живою росой полна.
Если ты ляжешь рядом –
обнимет она, как мать,
всего оплетёт стеблями,
травинками обовьёт.
Если в душе лелеешь
дыханье её и стать,
не стать ей пустой землёю –
с тобою весной взойдёт.

2009

Матенадаран

...когда мы были в Ереване
в каком-то дальнем дымном январе
и Матенадаран обозревали,
что знали о пергаментной поре?

Заставки, буквицы, виденья рая
заполнили нетленные листы,
и верил древний книжник, умирая,
что мы увидим это, я и ты.

Привет из века пятого, шестого.
Девятый век являет чудеса.
У Господа, у каждого святого
распахнуты армянские глаза.

Чужой язык, но узнаются лики
посланцев неба, праведных земли,
а вот что написал поэт великий –
нам прочитали и перевели:

«Надменный царь был властелин Вселенной,
но оказался мыльным пузырём,
пять гневных строк о мощи его тленной
осталось в книгах. Жалко быть царём!
Отпущен срок – успейте рассчитаться
за то, что души Он вдохнул в тела.
Зачем – легко ль сказать? Но если вкратце:
дабы не стали ветошью дела».

Над Ереваном смог висел бензинный,
на тротуарах снег сбивался в слизь.
Где Арарат над солнечной долиной?
А вдруг одни нечистые спаслись?

Ответы есть у Матенадарана,
тут строгий термовлажностный режим,
и верится, что поздно или рано
сюда вернёмся мы, как убежим

от суеты безудержной и сплетен,
и тысячи совсем ненужных дел,
когда мы станем чистыми, как дети,
и выпорхнем из обветшалых тел.

Не хватит ли нам войн и революций?
В одной из книг, навечно ставших в ряд,
пусть наши души, как тела, сплетутся
и многоцветной буквицей горят.

Зелёный, синий, золотой и красный
не выцвели с пергаментной поры,
а есть ещё лазоревые краски
и Арарата снежные шатры.

2016

Подарок

В детстве влюбился без памяти –
и подарил кольцо
мамино обручальное девочке озорной.
Стало совсем серьёзным – помню – её лицо,
и – восхищённый шёпот подруг за её спиной.

Был я не прав, конечно, взрослые разобрал*и*сь,
сразу кольцо вернули, сказали: «Не делай так!»
Девочка вышла замуж, как-то сложилась жизнь.
Будто вчера упустил её. Ах, я старый дурак...

2011

* * *

Грянуло утро – какой ослепительный свет!
Шорохи, тени, сомненья умчались во мрак.
Жемчуг росы – ничего драгоценнее нет,
ясность во всём. Замечательно! Как бы не так.

Жалко тех шорохов, жалко летучих теней,
были сомненья – а значит, надежда была.
Всё очевидно теперь. Новый день, пламеней!
Выжги мне душу, прошу тебя, выжги дотла!

2011

Как я не стал живописцем

Купили мне кисти и краски,
натянут на раму холст,
уверенно так я начал –
пейзаж с натурою схож:
уже волновалось море –
наверно, подул норд-ост,
и кромка песка серела –
пошёл настоящий дождь.
Писал я теперь всё смелее,
но главное упускал:
не в силах остановиться –
домазывал, доводил,
и стала волна тяжелее
тёмных прибрежных скал,
и на песок упал я –
не было больше сил.
Грустная это история –
художник сошёл на нет,
пытался наружу выйти,
но двери – *уже* щелей.
Мне снится, как дышит море,
уж*е* предвкушая рассвет.
Нетвёрдое моё слово,
прими меня, пожалей.

2014

Как я не стал пианистом

По улице ходила
Большая крокодила.
Из народной песенки

Старушка была из бывших,
замкнутых, чопорно строгих,
вся в буклях, прононс французский,
а мне было всё едино,
как же меня доставали
сухие её уроки,
как я хотел раскокошить
бабушкино пианино!
Взрослые настояли –
куда ж мне было деваться...
Каждый четверг, в двенадцать
эта мамзель приходила,
худая, как ключ скрипичный,
и давай измываться.
Но я таки отыгрался –
выдал ей «Крокодилу».

Пришла она, как обычно,
надушенная, ледяная,
сыграла этюд Шопена –
лицо её порозовело.
– Ну-с, что ты нам п*г*иготовил? –
(Мне стыдно, когда вспоминаю...)
– Чайковский. Сладкая г*г*ёза, –
наглея, ответил смело.

Я, правда, очень старался,
над фортепьяно старым
днями сидел, заучивал,
а музыка-то живая...
И наконец догадался:
слух есть, не хватает дара,
тогда и сыграл «Крокодилу»,
тихонечко напевая.
Старушка поджала губы,
едва улыбнулась змеисто,
родителям прошипела:
– *Г*ебёнок ваш безнадёжен.

...Вот как я постарался –
и не стал пианистом,
а то бы всю жизнь надрывался,
дар высекая Божий.

2014

Как я перестал быть актёром

В. В. Головко

Играли в сыром подвале
и счастье в том находили.
Нас хорошо принимали,
а мы играли, как жили,

без реквизита и грима.
Валюха из коммуналки –
наш режиссёр любимый,
страстная театралка.

Костюмы нам шила лихо
из лоскутков старинных
потомственная портниха –
бабушка Валентины.

О, таинство репетиций!
Даже слабак бледнолицый
в героя, пленив игрою,
может перевоплотиться…

И каждое воскресенье
в подвале как новоселье,
а зрители – тоже дети,
родители и соседи.

Заря актёрской карьеры:
по-взрослому учим роли
и после каждой премьеры
спектакли идут, гастроли.

Аншлаг в Дворце пионеров!
Триумф на летней эстраде!
Нас хвалят, не зная меры,
чужие тёти и дяди.

Пусть слава не водит за нос –
в подвал возвращались снова,
и, как на турнир, звала нас
труба стояка сурово.

…Что никогда не забуду:
плесень на стенах подвала
сверкала, как изумруды,
даже за миг до провала.

С подростками разве просто?
Не могут без матерщины.
Партнёр мой – чуть выше ростом –
попёр вдруг на Валентину.

Куражится, мизансцену
дерзает переиначить.
Море ему по колено,
а Золушка горько плачет.

Партнёр мой – король по роли,
и мало его пороли,
мне батюшку бить негоже,
но девочку жалко всё же.

Сцепились мы, покатились
за пять минут до финала.
Туфелька не пригодилась,
Золушка убежала.

Публика ржала хором,
визжала котом на крыше.
Не быть мне больше актёром,
из образа вышел.

2017

* * *

В гробокопательском экстазе
о скифском золоте бормочем,
определённо – сдвиг по фазе,
неизлечимый, между прочим.

И никого не ужасает –
об этом знают даже дети, –
что череп Моцарта мерцает
звездою смерти в интернете.

Что делать с мёртвой головою?
Одиннадцать зубов, коронки...
Но музыке не стать вдовою
и не дождаться похоронки.

Какое дело ей до тела,
что череп ей? Душа дороже,
не знает смерти и предела,
и Моцарт без неё не может.

2012

Одесская картинка

Р*а*чки краснеют в корзине,
женщина хоть куда,
ловко так лист газетный
свёртывает в кулёк.
«Р*а*чки! – кричит и сыплет
каждому. – Хочешь, да?
Так доставай скорее
свой пятачок, малёк!» –
Р*а*чки газет не читают,
им вообще не везёт,
уже на кульках сияет
Брежнев, а где Хрущёв?
Быстро кончаются р*а*чки –
быстро малец грызёт.
Уже и Союз как смыло.
Будет новый улов!

2009

Больница

Над этим домом ангелы стадами
неслышно бродят, легче облаков.
Светлеют души и не покидают
старух обломки, мощи стариков.

Вот из наркоза вышел сущий леший,
глаза смеются: «Эта жизнь по мне!»
Здесь каждый одуванчик облетевший
воспоминаний полон о весне.

Всего страшнее – обречённость юных.
Дюймовочка моя... Просящий взгляд:
«Спаси меня!» Но ветер смерти дунул –
и мимо эльфы, ангелы летят.

2005

В Карачёвке

Памяти Кости младшего

В Карачёвке, на Спортивной справа,
за беззубым мамонтом-забором,
дом к земле припал почти и дышит
еле-еле трещинами в стенах.
На веранде две доски осталось
под ногами – и дыра чернеет.
– Следуй дальше, – шепчет Дух и веет,
по столовой лист сухой кружится.
Раньше тут звенели-пели рюмки
и без умолку гремели тосты,
и без удержу сверкали шутки,
и глаза любимые сверкали.
Костя старший – тамада отменный,
Лёва младший разливает щедро,
время невесёлое, и всё же
сразу никого не убивают.
А в саду пчелиный гуд упорный,
неуёмный посвист соловьиный,
махаон на бреющем полёте,
и Каштанка, вся в репьях колючих,
улыбается по-человечьи.

Это было.
Вишни да черешни
с яблонями спорили о жизни,
но хватало всем воды и света,
а теперь два деревца осталось.
Крыша двадцать лет как прохудилась,
и в столовой, где гуляла свадьба,
тоненько звенят и плачут льдинки,
а порой заглядывают звёзды.
И всё кажется – глаза родные…

Январь 1997

Как последняя вспышка

Михаилу Сидуру

Не стоит описывать всё, без конца рисовать,
ты ляг, отдохни, – и пускай растворится кровать
и ты растворишься – расплавишься в лаве заката,
как много оттенков! Зачем вдохновенье искать,
когда ты и есть – сама жизнь, не смотри виновато!

А то, что сгоришь, – так ведь всё непременно сгорит,
и пассионарий сгорит, и, увы, сибарит,
описывать не торопись и не бегай вприпрыжку.
Мгновенья дождись своего, когда речь воспарит
с душой наравне, а душа – как последняя вспышка.

2010

Воспоминание о жизни

Далёкого октября
горит античная медь.
Всё было у нас не зря,
мы всё же сумели сметь.
Пылает рябины гроздь
живая – ты посмотри,
такая прожжёт насквозь
грядущие январи.

2003

Villa nova

Не отвык от всего я земного
и воздушный не в тягость глоток,
только снится уже Villa nova *,
будто рая заветный порог.

Здравствуй, жизнь, обновлённая въяве,
не растратить тебя, не избыть,
ты подобна целебной отраве –
просветлённую память цедить.

2016

* *Новый дом за городом (лат.).*

* * *

За слоем слой разъять – зелёный, голубой,
Творения тетрадь марая день-деньской,
и звёзды потушить – кому такое нужно?
А нас веди, гони, Кормилец, на убой,
пусть нам не всё равно, когда шумит прибой
дорогой круговой и россыпью жемчужной.

«Давно, усталый раб, замыслил я побег».
Затеяна игра с тобою, Игрек-грек,
с тобою, римлянин Аврелий, alter ego.
А то, что живы мы, рассудку вопреки,
исправит Он одним движением руки,
замалевав лазейку для побега.

Бывалый мореход и старый кифаред,
друзья мои, не всё – античный миф и бред.
Есть дружба и любовь, и маятник грохочет.
Мы снова на войне. А лучше б – на волне,
неведомо куда, с тобой наедине,
в сверкающем растворе южной ночи.

А если поражён в правах я и делах,
кто б ни был Ты – Зевес, Господь или Аллах, –
дерзну сказать Тебе: постой, какого чёрта?
Не веруешь в меня, не веруешь во мне,
так дай же мне сгореть в космическом огне,
швырни меня за Облако Оорта!

Пускай забудется, какою жизнь была,
судьбы распутица, – зато душа светла,
как будто на волне, и звёзды за кормою.
Но даже сквозь иных галактик млечный дым
дай, Боже, разглядеть зелёный с голубым
далёкий огонёк, не поглощённый тьмою.

Январь 2017

ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ

* * *

Я приходил, когда не мог прийти,
и уходил, когда уйти не мог.
Не провожайте – я всегда в пути,
не забывайте: я прибуду в срок, –
мой лучший друг и мой заклятый враг,
и верная любимая жена,
и ты, дражайший Квинт Гораций Флакк,
как рад я тебя слышать, старина!

1993

На окраине XX века

1

Юрию Ларину

Вот ужас городской, привычен, узнаваем:
всё пьяный инвалид культяшкою стучит.
Дождётся ли заблудшего трамвая
обугленный столетьем инвалид?
С глазами всюду прогнанной собаки,
бросок перемежающий с плевком.
«…гори, моя звезда» поют во мраке,
свет выключен в квартале никаком.
Идём на ощупь – к самой кромке века,
колец древесных нам не разомкнуть,
но только б не послал Бог дровосека,
того, кто прорубает *светлый путь*...

2

За женщиной, усталой, посеревшей,
идёт-бредёт алкаш – постылый муж.
Мастак он падать то орлом, то решкой,
кроша стекло едва застывших луж.

И женщина трясёт его и плачет,
и серой сумкой бьёт его: «Вставай!»
Всё это видит аккуратный мальчик,
впервые слыша грубые слова.

Не зная даже, как она зовётся,
чужую боль он приютил в груди.
Весёлого ребяческого солнца
маячит в лужах искажённый диск.

3

Вот оно – полуживое опровержение
теории Чарлза Дарвина:
нищий, голодный старик-попрошайка
сидит на мусорной урне.
«Не дашь ли, милчек, сигаретку?»
А через дорогу,
в грязном, как этот мир, зоопарке
такой же старик-попрошайка –
усталый сидит шимпанзе,
всем видом своим вопрошая:
«Не дашь ли, милчек, сигаретку?»
Лиц общее выраженье,
в линялых глазах
печаль вековая.
Какая там эволюция...
Всё рядом, через дорогу!

1990-е

Сон о дворе

Зине, Володе, Саше,
Нине, Ире, Серёже

Бывшей жизни зыбкий контур
превращается в пунктир,
и уже за горизонтом
обитатели квартир –
те, что столики сдвигали
и дружились, и ругались,
и божились, и дрались,
и калякали *за жись*.

Тихо во дворе, пустынно,
но мне слышен этот гам.
Как на башенных старинных,
выплывают по часам...
Наш Герой, с приветом дядя,
на балконе, при параде
(хорошо, что не нагим!),
в шесть часов врубает гимн.

Дружен с водкой и маразмом,
мутноглазый отставник,
матерщинник безобразный
из парадного возник.
И не оттого, что пьющий, –
по натуре гад он злющий,
всех ругает, всё не так:
«А Никита наш м...к!»

Но вставала тоже рано,
усмиряя этих двух,
дворничиха Марь-Иванна, –
нет уже таких старух.

Двор лелеяла, что царский,
не жалея сил и ласки,
особливо для юнца
с хворой мамкой, без отца.

Не скажу я: парень вырос,
Марь-Иванною храним, –
погубил беднягу вирус,
мамка отошла за ним.
Горю быть со счастьем в паре:
Землю облетел Гагарин
и разбился Комаров.
Провожали всем двором...

Мы не боги – догадался
я тогда же, к десяти,
но горланил: «...и на Марсе
будут яблони цвести»,
верил: труд у нас не рабский,
нам от майских до октябрьских
десять хмурых стариков
были и.о. всех богов.

Наши первые полёты
зрели в отроческих снах:
кто летел до поворота,
кто садился в бурьян*а*х.
Только снов невероятней
был дозор на голубятне –
башне посреди двора.
«Разлетайся, детвора!» –

прибегал, ругаясь, пастырь
трубачей и чистяков,
важных дутышей зобастых
и отважных сизяков.

Нам казалось: он волшебник,
и заброшен был учебник,
когда свистом в небо вмиг
стаю поднимал старик.

Коммунизма призрак дальний
волновал ещё народ,
но таинственно реальней
был, конечно, Новый год,
ожид*а*нный, неизбежный.
Двор сверкал, летучий, снежный,
вьюжный, льдистый, озорной,
зазывал: «Айда со мной!»

Звёзды красные на шапках,
санки, горки и трамплин.
Холод лютый, а нам жарко,
и не трусит ни один.
Но в безлунный вечер – слышишь? –
филин ухает на крыше,
чёрт колотится в трубе, –
чтой-то мне не по себе...

«То ли игры, то ли драки», –
всё-то бабушки ворчат,
а любимые собаки
нас бросались выручать,
правы мы или неправы.
А весной была облава:
вместе прячемся, дрожим
за тебя, наш верный Джим.

Снова разглядеть пытаюсь,
сотоварищи мои,
в том дворе цветущем завязь
нашей дружбы и любви.

Той, как двор, незапылённой
и восторженно зелёной,
как апрельская трава.
Чем теперь душа жива.

Мучила и волновала
(тоже помнишь, старина?)
избалованная пава,
как инфанта, холодна.
Звали девочку Эллиной,
робко тёк наш флирт невинный,
и позорно падал дух, –
опасались оплеух.

Без анкет, где мамы-папы,
чужды племенной вражды,
не чечмеки, не кацапы,
не хохлы и не жиды,
мы росли, дружа и ссорясь,
как подсказывала совесть
(если б сразу, кабы всем –
были б ангелы совсем).

Кто вы, где вы приземлились,
однодворцы-дружбаны,
все ли жизнью насладились? –
С необъявленной войны
не вернулся Женька-Рыжик...
Эллочка живёт в Париже.
Гриня мог бы в Изра*и*ль,
но подался в Браззавиль.

Всех собрать бы снова, чтобы
заглянуть в начало дней,
потемневшие хрущобы
станут в этот миг светлей.

Кто задёрнул занавеску?
Получающий повестку
отгулял всего-то треть...
Дайте ж фильму досмотреть!

Рухнул замок голубиный,
а хозяин голубей?
Жив курилка, и орлиный
профиль старца всё острей.
Точно Лир, пустынный, гневный,
он страдает ежедневно,
это видно по глазам:
«Скоро улечу я сам!»

Новый мир не без цинизма,
ох, не рай, как ни смотри.
Завязали с коммунизмом –
в бизнес прут секретари.
Псих-Герой не снёс конфуза –
помер за день до Союза.
«Боже, мя храни и клан», –
в церкви молится пахан.

Был землёй обетованной,
чем он стал – сказать боюсь –
двор наш после Марь-Иванны,
в пять правлений пьяных дусь.
Жизнь, не спорю, состоялась,
сна неуловима малость,
гаснет контур жизни той,
где всё дело не в расчётах –
просто ждёт и верит кто-то:
будет что-то за чертой.

1998

Семидесятники

Тот истинно себе не враг,
кто раздвоился, не расстроясь.
Когда дружны расчёт и страх,
ужом уходит в пятки совесть.

Твердим о торжестве идей,
вдыхая прошлого миазмы.
Сменил воинственных вождей
четырежды Герой маразма.

Пусть не имеем ни фига,
зато страна у нас богата.
На кухоньке в два-три шага
свобода хохота и мата.

И в каждом доме по ночам
радиоволны в уши плещут,
а по утрам смешок зловещий
того, кто первым настучал.

Молчит Господь – о чём? о ком? –
десятилетие итожа.
А мы уже под колпаком
у человека в чёрной коже.

Он стихотворствует в тиши
и рассуждает справедливо,
он любит Пушкина: «Души,
души прекрасные порывы!»

Надежд остывшая зола,
свою любовь остудим сами,
воители добра и зла,
меж бесами и небесами.

1992

О старухе, просящей копеечку

Кто лишён семьи и дома,
Божья Мама, пожалей!

Михаил Кузмин

Вот профи неимущая,
из тряпок и мешков,
заноза вездесущая,
ходок из ходоков.

То плачет и сутулится,
то шастает хитро:
за час пройдёт две улицы,
три станции метро.

Прикида ли, страдалица?
Поди ж ты, разбери...
Так трогательно пялится –
сомнение, умри!

Комедия – не Дантова.
С горчинкою на дне:
вдруг вспомнила про давнее
старуха по весне.

«Никола был тут каменный,
высок, пятиголов, –
потом большевиками он
был взорван – и делов.

А воскресенье вербное,
идём с подружкой в храм,
за нами хлопцы вредные
шагают по пятам.

И боязно, и радостно,
скачу я, что коза,
когда ошпарит пакостник:
– Не я бью, а лоза!

А обернулась, хлопцу чтоб
лозою отплатить, –
и не смогу теперь по гроб
глаза его забыть.

С тех пор, как ни буди меня,
любовью ни морочь, –
крупнее звёзд не видела,
чем в ту хмельную ночь».

Такое спела старая,
всё правда, видит Бог,
и тишина настала вдруг,
и кто чем мог, помог.

(Старушка-одуванчик,
а вон какая прыть!
Вопрос «А был ли мальчик?»
грешно произносить.)

Присобралась, бедовая,
опять глядит хитро.
На месте, где Никола был, –
рулетка и бистро.

1999

* * *

В толпе – на стылых улицах декабрьских,
в трамвайной толчее,
в другом каком аду
тебя я не узнаю без подсказки,
судьба подскажет – сходства не найду.

За место драка, багровеют лица,
гудит базар.
Ты можешь где-то рядом очутиться –
узнать нельзя...

Так и живём, себя не узнавая,
друг друга – тож.
Зачем же ты, тоска моя, о рае
нездешним голосом поёшь?!

1994

* * *

Жесты, взгляды – теперь втихаря у прохожих краду,
собираю по крохам походку твою и улыбку.
Мы не встретимся больше – написано нам на роду,
настоящего не докричаться, грядущее зыбко.

Память – строгий художник – рисует не абрис лица –
силуэт ускользающий, и догонять тебя поздно.
Ты идёшь так легко, а дороге не видно конца,
и сверкает январь, ослепительно чистый, морозный.

1995

Борису Чичибабину к 70-летию

Душа у поэта чудн*а*я,
от воли и света хмельная.
Дай Бог надышаться ей вволю
простором небесного моря!

В смирении, в тихой вере,
в опале, в огне и гневе,
в убогой своей квартире,
где комната три на четыре.

Но как уследить за стихами:
то реют над облаками,
то рядышком стих садится –
воробышком ли, синицей...

А правда глаза нам колет,
устами его глаголет,
страшит чернотою ада.
И нет ему с веком ладу.

Когда маета и смута,
и татем крадётся утро,
и смотрит цепной собакой
прохожий из пасти мрака,

какой искупить ценою
наш век воровской, цепной? –
Июньскою синевою
над белой твоей головой.

9 января 1993

1 января 2000

Жизнь тесёмочкой истёрлась,
ведьма-память водит за нос.
Мой ли ангел, Твой ли голос
или только показалось?

Говорливый мой попутчик
с червоточиной во взоре,
всё-то знаешь ты, голубчик,
расчленитель инфузорий,
излагаешь безмятежно,
просчитав ходы и маты.
Как положено, подснежник
расцветёт не раньше марта...

Не спрошу: «За что боролись?» –
сам без дела, как Обломов.
Тяжко дышит мегаполис
жизнью десяти содомов.
То в загуле, то в запарке,
вышний не услышит зуммер.
Фейерверки... В зоопарке
царь зверей от страха умер.

Близок алюминий неба,
стоек едкий запах гари.
Мрак. Как будто здесь и не был
Тот, Кого мы оболгали.

Авель, как всегда, спокоен.
Как всегда, опасен Каин.
Гаснет Свет – и возникает,
и сочится из пробоин.

Где искать Тебя? В пустыне?
«То не истины, а бредни», –
наставлял нас Младший Плиний,
а позднее кто-то средний.

Только, путаник и грешник,
пусть не битый, но помятый,
верю, что вдохнёшь в подснежник
жизнь, а может, и в меня Ты...

2000

Ночью

Через много лет после смерти
Вергилия показывали тополь,
посаженный в день его рождения

Шальная капля обожгла висок –
скорее в дом, там сухо и светло,
песочные часы струят песок,
а электрический камин – тепло.

Пускай себе неистовствует шквал,
ноябрьской безнадёги корешок,
незваный гость. Я никого не звал,
и будет нам с тобою хорошо.

Петрарку мы откроем на весне,
и Бродского есть на зиму запас.
И было б хорошо, когда бы не
сломался тополь за окном у нас.

Ровесник мой, он с виду был молчун,
тянулся ввысь без что и почему,
то был хорал немых древесных струн,
и я внизу завидовал ему

(слагающий так складно и умно,
не знающий при этом ни черта),
пока врастал он в небо за окном,
там, где теперь чернеет пустота.

Душа, оцепенелый мотылёк,
уже не устремляется за ним.
Обычай был у римлян: тополёк
сажать, когда родился гражданин.

2003

Инопланетянин

Алексею Муратову

Мой дальний, дивнорожий,
исполненный очей,
я на тебя похожий,
когда иду ничей.
Кому-то – собутыльника
в холодный вечерок,
братанье, подзатыльники
и в яму кувырок.
Моя тоска покруче,
вселенская тоска.
Раздвинь сырую тучу,
ударь её с носка,
с испугу ветер взвизгнет,
но Свет нам будет дан.
Поговорим о жизни,
космический братан!
В каком бы ни был теле,
стань на земную твердь
и на вопрос о цели
по существу ответь.
Не зря же мир склубился,
бездумен и красив.
Как в головах развился
мыслительный извив?
Кто выдумал нас, грешных,
трагических, смешных,
чувствительных и нежных,
и омерзительных?

Кто это всё задумал?
Каков конечный план?
Ты отчего угрюмый,
космический братан?
Иль был твоей забавой,
но вышел цацке срок, –
родимый наш, вертлявый
воздушный пузырёк?
Возьми-ка сувениры,
да только не молчи,
нам одиноко, сирым,
и боязно в ночи...

Молчит, очей исполненный,
уходит налегке
и шаровую молнию
ведёт на поводке.

2000

* * *

Наталии

Носятся годы – в конской, морской ли пене,
пух тополиный это или позёмка?
Не приручилось – всё ускользает время,
вновь промелькнуло. Ты засмеялась звонко.

Кони, дельфины нам подставляют спины.
Проще бы жить, как рощи, где так близки мы.
Брызжет и мажет пеной даже с картины
море, – и мы в пейзаже необходимы.

Если весна горчит – будет осень слаже,
и каждый день, налитой её солнцем, – Божий.
Тихая радость, веток живая тяжесть.
Сбор облепихи. Нам собираться тоже.

2003

* * *

Твой взгляд –
монахинь строгих ряд,
суров и прям.
А мне бы с головы до пят
тебя – к губам.
И что бы ни попало в речь –
цветы, цвета ль, –
я знаю, как умеет жечь
шальной февраль.
Как снег лежит,
нежней перин,
храня тепло.
О будущем не говорим –
оно прошло.
Но разве не начнём опять,
не будем впредь?
Не прячь серебряную прядь –
любо смотреть!

2005

Молитва со словарём

Рокот словесных гроз,
языковая сыть,
дай ответ на вопрос
вечный: куда ж нам плыть?

Чтобы доплыть скорей,
дай мне, о Даль, весло.
Спутнице дай моей
очи, взор и чело.

Нет, не глаза, не взгляд –
тот, что, как пуля, в лоб.
Слов благородный ряд
выше привычных троп.

Ах, устарело, не
священнодействуют
словом, что вышине
надобно как приют,
и – на исходе сил –
стынет свет сентября...

Дай мне, что я просил,
Господи словаря!

30 сентября 2000

Еленинская, 24

Памяти деда Лёни,
пропавшего без вести
в харьковском котле
в мае 1942 года

Разобрали ветхие заборы,
чей-то старенький жигуль в чехле.
А в чулане – фотографий ворох:
два счастливца на родной земле.

Отсвет преданности и любови,
и ни тени на её лице.
Скоро – до последней капли крови...
Тихо как на Северском Донце.

Разлучить их даже Бог не вправе,
вслушивающихся в тишину,
и без умысла закат кровавит
ласковую тёплую волну.

До войны осталось две недели,
только дат на оборотах нет,
и бредут они, как Тиль и Неле,
молодые бабушка и дед.

Жизни ни убавить, ни прибавить,
лепестковой плоти торжество.
Будет бой на ближней переправе
и не будет больше ничего.

Во дворе висит бельё – чужое,
из окна – чужие голоса.
Некому здесь помолчать со мною
у крыльца.

1981, 1999

Карповский сад

Отцу

Нет ничего на свете вкусней
кремовых трубочек:
помнишь тот добрый зелёный киоск
на площади привокзальной?

Сказочник, верно, запустил туда
неутомимого коротышку,
гнома-кондитера,
в розовом фартучке
и накрахмаленном колпаке,
он пыхтит – трудится по ночам,
сотворяя кремовые трубочки
почти что из ничего.

А утром:
«Тысячи ароматов!
Легчайшие вафли!
Нежнейший крем!
Широкая распродажа!»

Мы возьмём с десяток
и – айда валяться
на бархатных подушках
карповских склонов,
под кронами шептунов-дубов!
В начале июня
мшистые их стволы
плачут янтарным соком.

О, какое это лакомство
для благородных оленей-жуков,
ленивых бронзовок,
шустрых мурашей!

– Неужели вкуснее
кремовых трубочек? –
спрашиваю у древесного бычка.
На всю длину погрузил он
нежный свой язычок
в тягучий напиток.
Мочи нет отвечать!
Рогач блаженствует,
будто набрёл на эликсир бессмертия
и у него началось
головокружение от успехов,
будто всё он на свете
испробовал, задавака...

А в его-то нашейном зеркальце
уже целую неделю
отражаются только
резные листы да чёрная кора,
кора да листы,
и вдруг –
клочок звёздного неба –
плечо Ориона,
лапа Большого Пса, –
когда порыв озорного ветра
опрокидывает жука,
летящего над вечерней землёй.

...и быстро-быстро
тают во рту
последние кусочки
кремовых трубочек,
а в травах мерно гудят шмели –
должно быть, свою илиаду
и одиссею – песню за песней.
А там, под склонами,
вторят им поезда,
отходящие от перрона,
такие степенные поначалу,
а потом, как бы спохватываясь,
ускоряют свой бег:
так-таки надо торопиться!

Тогда казалось –
это мы провожаем их:
мы – деревья и травы,
и всякая тварь – остаёмся,
а поезда уходят.

Кто мы теперь
и где мы?

На карповских склонах
полусгнившие пни,
трава вперемешку с мусором,
едкий запах нечистого дыма,
пёстрые обёртки сникерсов и баунти –
райское наслаждение...

Вас обманывают, пацанва!
Только вкус кремовых трубочек
из привокзального киоска –
разобрали его на дрова
лет сорок тому назад –
остаётся на губах.

…а поезда, как прежде,
отходят от перрона,
такие степенные поначалу,
по-слоновьи
протяжно гудят,
а потом, как бы спохватываясь,
ускоряют свой бег:
так-таки надо торопиться!

1993, 2003

* * *

Александру Межирову

Вокзала сквозные огни,
в зрачках его жёлтых глаз
твои отражаются дни –
чернее закрытых касс.

Вдруг двинулось, сорвалось,
что домом было, теплом,
но если холод и злость
войдут в тебя – станешь злом.

Помедли, поберегись,
улыбку убереги,
и, провожая жизнь,
шепни ей: «Мы не враги».

…А если некуда, если
вокзал – последний приют, –
слушай: цыганские песни
рельсы тугие поют.

1992

* * *

Маме

За пазухой камень?
Да нет, за душой
не камень – Камея.
Кукушкой проклюнуться
в жизни чужой
едва ли сумею,
покуда любовью
наполнена грудь –
алупкинский воздух.
Осталось:
на пёстрые снимки взглянуть,
как ночью – на звёзды.

Там плотью родные струятся черты,
как прежде, тепло там,
и нет уже в мире такой чистоты,
прекрасней полотен.
Бездонен кадрированный окоём,
а персик сочится.
И кажется: если от счастья умрём,
беды не случится.

14 июля 2001

* * *

Ночь нараспашку
иглы звёзд
прокалывают темноту
и отдалённая печаль
и одиночества немая острота
как звёздная болезнь
вползают в человека.

Ночь нараспашку
и таинственный недуг
не мучает
но тихо возвышает
как могут одиночество и вера
меня возвысить над самим собой.

Ночь нараспашку
и
с неимоверной высоты
я устремлюсь
во всё земное облекаясь
мгновенные объятья нарушают
движенье звёзд
блуждание людей.

Не разлучайте нас, не разлучайте!

14 июля 1981

* * *

Улицы эти мною проходят, мною и живы,
окна меня узнают и кирпичная кладка
невозмутимой стены, трещины на ступенях,
яблоня за окном,
расщеплённая надвое смерчем, –
всё проросло сквозь меня,
почему-то живого,

и по утрам надежда нелепая крепнет:
за поворотом
увижу не куст жасминный –
снова тебя, моя жизнь,
моя радость, увижу.

Июнь 2001

Орион

Два огня, ослепительно молодых, –
это мама-невеста и папа-жених,
по прямой между ними,
бездну мрака спустя,
третья звёздочка – я, их любови дитя.

Бездну мрака бездумно,
бесстрастно пройдёшь –
засверкает вдруг мир, так на Бога похож,
и надёжен твой кокон – из ласковых рук,
спать бы тысячу лет,
слыша «Солнечный круг»…

И не знать, что неймётся огромной стране,
что на Кубе ракеты готовят к войне
и, как фаллосы, боеголовки торчат:
не плодить, а губить им ребят и бельчат.

...Эта вспышка,
которую жизнью зовут,
затухает, как свечки растаявшей жгут.
Но пока мы втроём –
никогда не помрём.
И не дай Бог слабеть одиноким огнём!

1995

Сочи 1960

Вот грех какой – мне подбирать слова...
Столп света встал над полумглой бумажной:
край ослепительный, горячий, влажный,
манящий всем, чем только жизнь жива,
не пробензиненный, малоэтажный.

Вселенная пахучего куста,
апофеоз безумного цветенья.
Жук-дровосек, скрипящий, как сиденье,
маг-богомол, тревожный сон кота,
узревшего пернатые виденья...

Мой спелый край, где персикам капут,
а тараканы – будто диплодоки,
а скорпион и каракурт уроки
опасности мальцу преподадут,
и где белеет парус одинокий.

Из сада терпкий дух, гудят шмели,
а ниже – крабий мир и запах йода.
В родительских руках моя свобода,
звенят ключи от неба и земли,
и моря – словно в детстве Гесиода.

Не знал тогда: моя стихия – воздух,
но вечерами становился им,
летел туда, где ароматов дым,
за Мёртвой Головой – к прекрасным розам,
и бабочкиным богом был храним.

Хозяек не забуду имена
волшебные: Мария, Лара, Люда,
а память наподобие сосуда:
на гранях блики, но не видно дна,
всё показать – не хватит Голливуда.

Дорожек сочинских не перечесть,
здесь так легко пойти и затеряться,
цикадам петь, влюблённым целоваться.
Улиткой на стволе остаться б здесь
и неразумно к солнцу подниматься.

Курортный эпос... Лучше бы молчок,
о Сочи пошлом сложены нетленки:
и Пастернак о том, и Евтушенко…
Что ж, каждому своё. Опять сверчок
скрипит о вечном, вывернув коленки.

2005

Одесса 1968

Памяти К. Г. Паустовского

Где-то у бессмертных пастухов
белые барашки разбежались.

Лео Яковлев

Нетрудное дело – бычка обмануть,
в рачка запрятав крючок.
Ещё не успеет груз утонуть, –
дёргает, дурачок!

Волна небольшая, хороший улов,
солнце уже высоко,
и старый рыбак, отложив самолов,
балуется табаком.

Как однотрубный дымит пароход
и поучает притом:

– Бог *знает*, сколько кому даёт,
лишнего не возьмём.
С Багрицким ходил я,
и с Костой ходил,
теперь и его уж нет.

О смерти товарища мой старожил
узнал из газет.

А я подсекаю и только учусь
рыбачить, любить, тосковать.
О море я знаю, о смерти чуть-чуть –
что двум не бывать,
что станет ни холодно, ни горячо,
никак – бессрочный отбой…

Всё знает об этом глупый бычок
с разорванною губой.

1972, 1995

* * *

Прощай, Капитан, – на месте пустом
пусть воды сомкнёт Океан.
Земной поклон тебе, Жак Ив Кусто,
за то, что влажнел экран.

Пока за счастьем своим нырял –
а жизнь и на дне хороша, –
неслышно, как в Океане коралл,
росла и крепла душа.

И если – боюсь – шарахнет беда,
останусь, как перст, один, –
на зов мой пускай приплывёт сюда
твой крутолобый дельфин.

Мы будем скользить по легкой волне,
улыбок не станем беречь.
И только в своём сухопутном сне
я вспомню людскую речь.

Не умирайте, други мои,
любимая, не уходи.
Ещё так много земной любви
в дельфиньей моей груди.

Июль 1997

Тритонов сонет

Пятниста жизнь – пусть водная среда,
а лапы перепончаты, как ласты.
Тритон, братишка влажный и глазастый,
не исчезай, как ящер, без следа.

Тебе, поверь, не причиню вреда,
пусть из породы вражьей, человечьей, –
не я сливаю в ручеёк твой нечисть,
айда со мной на чистые места!

И всё-таки враги, не кореша?
Суха, ты чувствуешь, моя душа,
и под водой мне худо без скафандра.

Но вижу я с тобою в том родство,
что чуждо мне двуногих торжество,
когда в огне сгорает саламандра.

1998

* * *

Здиславу Новицкому

Думай, что хочешь, Познань, пусть я чужак заезжий,
водишь меня кругами, топишь в тоске трамвайной,
только отныне и присно живу, зависая между
той отлетевшей встречей – этой почти случайной.

Стала ещё темнее крыш твоих черепица.
Вот я уже на спуске, скоро и Старый Рынок.
Как молоко парное, пью тебя – не напиться,
будто в раю, достанет каждому тёплых кринок.

Двадцать лет забывал я з*а*мки твои, костёлы,
был ты со мной и мной ты, родинкою на карте.
В запамятном том июле какой я ходил весёлый,
но потерялся где-то между Вислой и Вартой.

Уже никогда не будет Армии Красной аллеи,
маршалам не командовать солнцем и листопадом,
а от Старого Рынка до сумрачных стен Цитадели
незыблемо расстоянье и проверять не надо.

Первая или вторая – всё одно мировая,
третьей вожди стращали, но в общаге на раме
что я читал, созревая, по капельке прозревая? –
Света горячую прорезь: «Kocham Adama»*.

…Было давно, не помню, июльской прошло грозою,
говор листа резного мешается с речью гида,
я рядом стою, не верю, из своего кайнозоя
гляжу на себя молодого, словно на трилобита.

Думай, что хочешь, Познань, и радостно мне, и больно,
я узнаю и целую дубы твои и платаны.
А над озёрной гладью чайки кричат недовольно:
ходит чужак по берегу, тихий такой и странный.

Октябрь 1997

* *Люблю Адама (польск.).*

О Дамах былых времён

Памяти Марии Вартановой
и Маэли Фейнберг

Подскажи слова простые
мне, кладбищенская ель,
про тифлисскую Марию
и московскую Маэль.

Тяжела судьба-судьбина,
боль не в силах превозмочь
мать, теряющая сына,
мать, теряющая дочь…

Знаю, что жилось несладко,
но сумели вы сберечь
королевскую повадку,
замедляя жест и речь.

Зло казалось беспредельным,
было голодно к тому ж.
Жили вы, душою цельны,
во спасенье слабых душ.

Суетящихся букашек
не хулили сгоряча.
Пили из старинных чашек
не спеша душистый чай…

А теперь с моим сиротством
жить мне стало невтерпёж:
доброты и благородства
в этой жизни не найдёшь.

Пусто справа, гнусно слева,
время – дождика серей.
Мои Дамы, Королевы,
возвращайтесь поскорей!

И не кладбищем единым,
мне хотя б на полчаса
с вами встретиться живыми…
Жесты, взгляды, голоса.

…Не гремят жильцы замками
на небесном этаже.
Берегу о вас я память,
как яичко Фаберже.

Ноябрь 1994

Памяти Л. И. Кедриной

Я беру тебя в песню.
Дмитрий Кедрин

Запомните, какою была…
По-птичьи быстра,
до боли светла,
смеялась, когда говорили со зла,
что, мол, доброта её подвела.

Дай Бог этим людям –
и всем остальным
такой простоты.
Когда сбегаемся мы и сидим,
добротой, как едой, наполнены рты.

Сидим – соседями по купе,
ласковые до тошноты.
Вот чью-то душу зажали в толпе,
выхватить бы из толпы…

Она умела, она могла
спасти, когда душит мгла,
и обогреть, если в сердце лёд,
время сквозь пальцы течёт.

…Свет Божий
в душах горит и глазах,
по-ласточьи быстрых глазах,
сверкает в спасённых ею стихах,
сияет на небесах.

Июль 1987

* * *

Памяти Вали Бунина

Не мне тебя итожить,
сойдёмся как-нибудь,
чтоб опыт наш помножить
и обнаружить суть.

Пересчитать потери –
от двух до десяти…
Не верил, не поверю
в отсутствие Пути.

Сперва идёт разведка,
но знак был свыше дан:
два именитых предка –
свет-Анна, свет-Иван.

Василь Андреич, помню,
из Буниных, бастард.
Ты начинал нескромно –
с элегий и баллад.

Расчётливая гордость
и родовая спесь?
Нет – то клокочет в горле
непрошеная песнь.

Когда созвучий жаждет
душа – не прекословь.
Сбывалось не однажды:
крепка, как смерть, любовь.

Зачем же ты нарушил
строй вещего стиха,
пустил апокриф в душу:
смерть, как любовь, крепка?

Не замесилось тесто,
и снова ты, браток, –
затерянный в Авесте
библейский лепесток.

Ты пел во время оно,
и шёл тропой твоей,
за песнью Соломона
Серёга-соловей.

Российские просторы,
горячие снега…
Мучительны повторы,
а петелька туга.

18 августа 2002

Муза черновиков

И. Л. Фейнбергу

Сраженьями озабочен,
победу чуя наперёд,
порхает по заборам строчек
бойцовый петушок-перо.

Обгрызанное, не сдаётся.
Поэт к его боям привык.
А вдруг возьмёт и захлебнётся
в словесной пене черновик?

Об именах и родословных
других певцов и речи нет.
Она к нему входила, словно
он был единственный поэт.

Печалилась и улыбалась,
изящным пальчиком грозя
той нише, где стонала зависть,
хуля в глаза и за глаза.

(«Он увядает! Он немеет!
Позвольте, где его стихи?»)

Пусть до поры лежат и тлеют
забытые черновики.

«Вернусь… когда… сама не знаю».
Она вернётся – в этот миг,
постылую строку кромсая,
он обессмертит черновик.

1978

* * *

Памяти И. Л. Фейнберга

Спят стихи в потёртом переплёте,
как вино, забытое в бокале.
Пригублю его – но не живёте
вы, которые отпировали.

Пролистаю тысячу альбомов –
много пыла в них и пыли много,
тьма стихотворений незнакомых
и давно остывших, слава Богу.

Пролистаю – все ли крепко спите,
века девятнадцатого мощи?

Чудится, наверное, но видел,
как блеснул его горячий росчерк.

1979

* * *

…Про него можно справедливо сказать,
что в нём оплакивается будущее,
а не прошедшее.

Император Николай I –
князю И. Ф. Паскевичу,
22 февраля 1837 г.

Нелепо – Пушкин после сорока,
державный муж, входящий в зимний возраст,
спесь зимнедворца в ленточках и звёздах,
подагра, а сиделкою – тоска.

Читает царь «Историю Петра»,
зияют высочайшие купюры.
Не издавать, кляня цензуру-дуру?
Но Машу замуж выдавать пора…

Онегин растолстел и поглупел,
Дубровский в эмиграции, как Герцен.
Одышка и пошаливает сердце…
А в тридцать семь – пострел везде поспел!

1997

Его современник

В усадьбе дедовской скучал.
Большой проказник с малолетства,
повеса из повес, наследство
он в Петербурге промотал.
С рожденья в N-ский полк записан,
служил и молодым актрисам
стихи амурные писал.
О Мармонтеле бормотал,
хвалил Вольтера за крамолу,
кричал: «Да здравствует Ермолов!»,
и гарцевал, и танцевал,
и был в бою, как барс, отважен,
а на паркете напомажен.
И на карьеру наплевал,
и был разжалован в солдаты.
Дуэль не кончен, в 35-м
обидчика он застрелил.
И часто Пушкина смешил.

1999

* * *

Разодран в клочья век твой золотой,
и век младой молчит, как понятой.
Чей локон утаил студент Тургенев?
Не Александр Иваныч, добрый гений, –
он скоро повезёт тебя туда,
где навсегда уснуть тебе желалось.
Жизнь кончена, едины гнев и шалость,
и бунт, и пунш, и невская вода.

Где всё искрилось – полумрак и тени,
Россия Достоевского смердит,
и в люльке так пронзительно кричит
новорождённый вождь Ульянов-Ленин.
Толстой куражится: как век твой несерьёзен! –
Куда серьёзней будет новый век.
Того поставят зеркалом, не спросят,
тот – винтиком, никто не человек…

Но всё гремит, ласкается, балует
и прямо в сердце каждого целует
твой голос, то мудрец, то дурачок.
Всё кончено, – но выживет Сверчок.
Не быть ему курилкой-инвалидом,
скрипящим: «От меня осталась часть».
Не может век – Жуковский и Давыдов,
и даже Греч с Булгариным – пропасть!

Все по стихам, должно быть, разбежались…
А тот, кто слов божественную завязь
найдёт, – тотч*а*с готовься к чудесам.
Из-за строки покажешься ты сам
и скорчишь рожу – по обыкновенью,
и закричишь: «А кто из смертных сих,
кто спрятался в моём стихотворенье
и кто теперь александрийский стих?»

10 февраля 1999

Алупка

По камням ползёт живой и мёртвый мох,
кедр ливанский провожает до крыльца,
здесь начало и конец земных дорог –
вечный дворик Воронцовского дворца.

Парк укроет нас от ливней и жары,
ледяные родники бегут-спешат,
кипарисы и собаки здесь добры,
и к хорошему ласкается душа.

И становится ничем житейский сор,
даже если ты немножечко злодей.
Жизнь прекрасна, как хозяева озёр –
пара чёрных, пара белых лебедей.

Что ж черна твоя душа, светлейший князь,
для чего такую пакость о Сверчке
в Петербург ты настрочил, не побоясь
у потомков оказаться на крючке?

Не сердись, не одного тебя виню,
твой обидчик уж никак не ангелок,
род старинный, а повадки парвеню:
как добычу, твою леди поволок.

Ты-то знаешь, с чем рифмуется любовь,
расквитался б, на дуэли положив.
Только выбрал ты чернила, а не кровь,
эпиграмму-оплеуху заслужил.

Тяжелейший это приступ черноты,
словно смерч прошёл по саду твоему.
…Но опять цветут деревья и кусты
и поют сверчки, не ведая, Кому,

и блаженно спит невиданный дворец
львиным сном над вечным кружевом аллей.
Красоты такой творец – *полуподлец*?
Сразу ты становишься светлей.

1999

Памяти Огарёва

Помяни же, муза, Огарёва…
Каково всю жизнь будить народ,
а в ответ – ни шороха, ни слова.
Помяни же, муза, Огарёва,
пей стихов его горчайший мёд.

Надышался лермонтовским сплином
(только рабский подражатель пуст),
брезжит в образах его старинных
тихая предчеховская грусть.
Надышался, спился – ну и пусть.

Иногда он доходил до транса,
всхлипы начинались и возня,
но в своём неспешном дилижансе
он провёз не одного меня.
Одного себя во всём виня.

Гринвичскими улицами шастал
под дождём, кляня немые дни.
Слыл вождём, а доживал балластом.
Помяни же, муза, помяни,
разве может жизнь пройти – и баста?

Не борьбу, источенную молью,
не идей нелепых поголовье, –
память сердца, слабый стон пера,
дружеством и первою любовью
свято озарённое Вчера!

2001

Анна Горенко

…К ней Пушкин лицейский вчера заходил.
Сидел, дожидался, покусывал ноготь.
И в зеркале профиль его не остыл,
как будто свидание это могло быть.

Её царскосельская юность, когда
грустнела легко, запевала тревожно...
А век только двинулся – и неспроста
он мягко ступает, как зверь осторожный.

…Дрожит, словно вышла из невской воды.
Не зная себя, она верила другу…
Спеша – потому что разводят мосты, –
он поцеловал её смуглую руку.

Казалось – навеки, навеки желанна…
Разводят мосты. Но какое ей дело?
Вода подбирается к туфелькам Анны.
Печальная дева в Неву загляделась.

Помедли – ещё нагуляешься тенью,
есть беды страшнее, эпоха сурова.
Всё плещет и плещет Нева о ступени
и чудится отблеск библейского Слова.

1979, 2009

Цех поэтов

Восторг и беспокойство,
кому кричать: «Земля!»?
Штудируем устройство
шмеля и корабля.

Не всюду инженерный
тут надобен расчёт.
Простор щекочет нервы,
морозит и печёт.

Уйдём от мелководья,
откроем острова.
Так обрастают плотью
незрелые слова.

Ведёт нас вдохновенье,
а дар как божество,
и убежит забвенья,
кто зову внял его.

Прошли мы все размеры,
и звонок стих живой,
и был для нас примером
наш строгий рулевой.

Прошли без устрашенья
курс кораблекрушенья,
пророчеств и угроз.

Нам улыбнулось Слово.
«Забрали Гумилёва!»
Спасти не удалось.

1990

Последнее возвращение

Не сном, не травой…
Не зная гнездовья –
над тёмной Невой
Любовью и Болью.

Летучим стихом –
небесным наречьем,
земным холодком
Невы и невстречи.

1989

Поэт и сахар

Дайте Батюшкову розу… *
Осип Мандельштам

Пушкину – успокоенье,
бурю Лермонтову дам,
Маяковскому – варенье,
сахар примет Мандельштам.

Снизойдёт по-королевски:
не подачка это. Дань.
Аргумент, конечно, веский:
он – поэт, куда ни глянь.

Несерьёзен, как мальчишка,
петушиный нос дерёт,
зачитал чужую книжку,
занял рубль – не отдаёт...

И не то беда, что жид он
(Пушкин тоже был арап), –
у него своя орбита,
а таким судьба – этап.

На госдаче, на веранде
кто-то буркнул: «Враг и враль».
Светит солнце Александра,
да не греет: век – февраль.

* *Должно быть: «Дайте Тютчеву стрекозу – / Догадайтесь, почему. / Веневитинову – розу…» и т. д., но в памяти это, по-видимому, соединилось с другими строчками О. Э. – из «Батюшкова»: «Нюхает розу и Дафну поёт». (Примеч. автора.)*

Нет ни грамма, ни полграмма
италийского тепла,
роза у оконной рамы
простудилась – умерла.

Некому и Мандельштама
уберечь и обогреть,
посильнее эта драма
сказки «Девушка и Смерть».

На дворе лихие страсти
и незримые ножи,
а кремлёвский тёзка: «Мастер?» –
спросит, жизнью одолжив.

Некому ответить прямо,
и легко сойти с ума.
Батюшкова с Мандельштамом
ждут казённые дома.

Первый шепчет: «Извините,
стал я, кажется, мудрей –
не хвалитель – не хулитель
революций и царей.

Промысл Божий нам неведом,
но, ведомы Им, поём.
Светом напоён и цветом
мой волшебный окоём».

«Здесь ходить привыкли строем, –
отвечает Мандельштам, –
а беглянку душу-Хлою
я в коммуну не отдам.

В стане равных, но бесправных,
что ей делать, объясни?
Дафна сгинет и подавно,
жизнь отдав за трудодни».

Исчезает призрак нежный,
повредившийся в уме.
Новый век морозней прежних
и коварнее вдвойне.

Он умеет притворяться:
скромен, ласков, строгий френч.
Ни спастись, ни оправдаться –
разве только в дурку лечь…

А пока что пей вприкуску
чай с дарёным сахарком,
весь – гармония на русском,
будто с ангельским знаком.

2003

Франческо Петрарке к 700-летию

Пишу на ветре.
Ф. Петрарка

Летучих слов спасательная нить –
такою можно штопать души
и небеса. Ты волен говорить,
а мы – не слушать.

«Словорасчётлив и самолюбив,
ещё – славолюбив, как боги…»
У пурпура – бессмертия отлив,
минуешь сроки!

Ты италийский осветил Парнас
среди средневековой ночи,
и этот свет, уже нашедший нас,
остановить нет мочи.

«Без меры Августину подражал
и нагрубил в письме Сенеке…»
Не тем ты взял селян и горожан,
скажи о человеке,

кто, зная счёт годам и городам,
не сторонясь всего земного,
меж доннами Мадонну увидал
и шепчет: «Vita Nova».

…я, как в траву нежнейшую лицом –
прими, Певун, единоверца, –
в твои листы сонетов и канцон
роняю сердце.

2004

* * *

Нашествие скотин
с головками из воска,
как будто бы с картин
Иеронима Босха.
Борис Чичибабин

Босх мне кажет Содом,
и по-своему Босх человечен,
уловитель тоски
обречённой пернатой души.
Застывающий льдом,
гнев его только мёртвого лечит.
Из-под этой доски
не взлететь – всё пропало пиши.

А писать бы – на взлёт,
графоману Петрарке внимая,
златобрёху Плутарху –
из чистого золота он.
Босх едва ли спасёт,
с ним душа моя в ногу хромает,
чёрен дар его – бархат,
где каждая складка – дракон.

Тяжек свет неживой.
Только б вывести душу наружу,
где так ветры свежи
и у Господа множество лиц.

О Лауре мне спой,
мой пресветлый ликующий друже,
о Ликурге скажи,
сочинитель благих небылиц.

2004

Случай с Набоковым

Чудо хочу сотворить
лиловокрылую бабочку
и долго толку краски
нежнейшая будет лежать пыльца
на крылышках лёгких.

Но что это?
Бабочка позеленела
покрылась
влажной лягушечьей кожей
скорее закрою её чистым листом бумаги!
Но разрывая лапками
хрустящий лист
словно яичную скорлупу
рептилия растёт на глазах.
Будет прогуливаться по моим рукописям
как ни в чем не бывало
станет служить мне
переворачивая хвостом страницы.
Чтобы вздыхал я и говорил:
– Так мне и надо!
– Так не должно быть…
А потом успокоившись:
– Вот если бы царевна-лягушка…

1983

Реставраторы

Давиду Самойлову

Не боится Москва Тохтамыша,
и над пеплом последней измены
поднимаются новые стены,
купола золотят, ладят крыши.

Как блестят глаза у работничка!
На лесах он стоит у самой стены
опустевшего храма Божьего,
купола свои растерявшего.

Реставратор Нового времени,
твой собрат врачует немые столбы,
в почерневшие лики погорельцев-святых
попадают искры художеств его.

Расскажи ему, расскажи ему,
реставратор Нового времени,
что гореть ещё храм
будет девять раз,
да из пепла вставать
будет девять раз,
а в десятый раз
рухнет замертво,
как по городу прогуляется
Каганович-князь
со товарищи.

…А работничек на лесах стоит,
то ли песню поёт, то ли с Богом говорит,
и рубаха на нём латана-перелатана,
а за пазухой ладанка спрятана.

1983

Аполлонию

и Алексею Горелому

Из глины лепишь ты горшки, а человека
слепить из глины не слабо? Поди, попробуй!
Ещё сложи ему судьбу, покуда боги
разборкой заняты и дым валит с Олимпа.

Песок и глина, и огонь – всего делов-то,
что ж лепишь ты горшки – не человека?
Не женственны ль овалы твоих амфор
и кратеры не мужественны разве?

А если жизнь обожжена любовью,
уже и взгляд твой, верю, обжигает
желанную, как молодое тело
любимой, розовеющую глину.

Когда б судьбе придал такую крепость,
не утонул бы ты у скал родосских,
когда домой весёлый торопился,
продав товар понтийским чудакам.

Ты смертен, Аполлоний, но от бога
не только имя – и глаза, и руки,
божественно живая, огневая,
без устали творящая душа.

Песок и глина, и огонь – готова
Вселенная, свежа и лучезарна,
и амфорой жена твоя застыла
на кромке света, на краю времён.

А на плече её (или на ручке?)
твой поцелуй последний, Аполлоний:
запаяна ещё живая роза
в горячее овальное клеймо.

1999

Песни Аполлония

1

Родос моей души,
розы в росе свежи.
Между олив и скал
я твой залив искал.

Утром, когда прибой
нежно играл с тобой,
видел тебя нагой –
и потерял покой.

Нам до костра – вдвоём,
будет пора – помрём.
Прочь плачи и стоны,
не в лодке Харона –
в строчке Гомера плывём!

2

Плывут Гомера корабли,
посланцы неба и земли,
не суждено им сесть на мель,
хоть время моря солоней.

Пойдут валами времена,
слова покроет седина,
но гулкий Одиссея путь
прервётся ли когда-нибудь?

1993

* * *

Империя готовится к обвалу.
Катулл умолк, и спорить кто бы стал,
что рядом с ним так мелок Марциал.
Вот и его как будто не бывало.

Мельчание породы, вялость духа.
Не именем – именьем дорожат.
Ау, Вергилий, Август, Меценат! –
Как море, эхо отвечает глухо.

Казалось, всё надолго и всерьёз.
Когда бы не Овидия опала
и ссылка, и дымок «Метаморфоз».
Империя готовится к обвалу.

Строителей хиреет мастерство,
а скульпторы плодят каких-то тварей,
уже почти не стоит ничего
посеребрённый наш медяк-денарий.

Есть время разувериться во всём,
и желчи, и золы теперь в избытке.
Империю, конечно, не спасём.
Сберечь хотя бы кодексы и свитки.

Когда и кто раскроет, развернёт –
об этом думать? Вот недоставало…
Империи готовятся к обвалу,
а Лесбии воробышек живёт!

1996

Памяти Булата Окуджавы

– Пресвятая Богородица,
пошто рыбка золотая не ловится?
– То ли невод худ,
то ли нету ея тут.
Из русской народной поэзии

Меж чиновными в Безбожном,
переулке невозможном,
можно – если осторожно
жизнь прожить наоборот.
Сочинителем в законе,
при очередном Драконе,
и душа пребудет в коме,
вечных слов не разберёт.

В том ли соль, что жизнь конечна?
Что нам в песенке беспечной?
Но услышит – в Невод млечный
чудо-рыбка попадёт.
Чешуя горит, что злато,
и за каждый звук – расплата.
– Что те, старче? – виновато
спросит – и сама поймёт.

Чтоб дождинкою по коже
день – пусть серенький, да Божий,
чтоб в сентябрьский миг погожий
закружиться – хоть листом.
Солнце высветит в полёте
лоскуток горячей плоти.
– Не об этом ли поёте?
– И об этом, и о том.

Чахнет мученик бездарный
над поэмой планетарной.
Винограда плоть янтарна
и текуча, как слеза.
Что ж с душою происходит
в мае, когда вина бродят
и, послушная природе,
в косточке поёт лоза?

Июнь 1997, 9 дней

Сорокалетие

Евгению Евтушенко

Ах, не скажите, Лев Николаич,
теперь-то я Вас понимаю.
Портили девок, портили воздух,
бодро писали повести и романы,
гордо от них отреклись
и стали нести ахинею.
С плотью пресыщенной
трудно ль бороться?
Вот и несёт Вас, Ваше сиятельство,
чистого духом и телом,
вот и прониклись Вы
непротивленьем,
стали мудрей филозопа.
Всем прожужжали Вы уши,
сами себе надоели…

А Вы, мой дражайший
гениальный психолог,
творец упырей и циклопов,
униженных и оскорблённых,
страдалец-всевидец
с тоскою и злобой
в слезящихся мутных глазах?
Ах, Фёдор Михалыч,
полотен пространнейших мастер,
российских равнин бонапартик,
вздыхатель о Белом Царе –
спасителе мира…

Кудесники слова,
ловцы человеческих душ,
как пыжились вы,
совершая великое дело…
Но вы же стыдились,
терзались и каялись тоже,
и голову пеплом,
и проще смотрели на вещи.
«Бог нашими жизнями дышит
и ясен, как день, и блажен».

Порядочность, совесть,
надёжность и верность,
готовность собою пожертвовать
ради любимой и друга,
и, может быть, к жизни
привязанность и любопытство,
когда остаются вопросы,
хотя уже долго живёшь, –
всё это растёт, как деревья,
живёт, если почки набухнут
и ливни прольются весной.

Не мудрствуя всуе, признаюсь:
не ваши главнейшие книги
возьму я с собой в Иномирье,
коли доведётся попасть.
Но с Библией не разлучите
(что я без неё? или Рембрандт?)
Оставьте меня, не пытая,
с Пророками и Псалтырем.
Оставьте с Гомером наивным,
с Шекспиром – шутом театральным,
оставьте меня с душкой Скрибом
в шампанском «Стакане воды».

А вам он покажется мелким
и простеньким, и никудышным, –
без мудрых, как вы, поучений,
без поиска смысла всему…

Люблю волшебство вышиванья
на жизненной ткани истлевшей,
где слово материю лепит,
журча, как живая вода.
Шьёт из лоскуточков-кусочков
распавшихся тел и костюмов,
из писем, сгоревших в камине,
и взглядов, погасших давно.
Потерянный, вновь обретённый
мир одушевит и наполнит.
Чем?
«Разным», – подскажут Светоний
и Таллеман де Ре*о*.

А помните, Лев Николаич,
однажды Вы чистосердечно,
неосторожно признались
придворным своим, приживалкам,
что, отроком будучи нежным,
Дюма Вы открыли в дороге
и так увлеклись, зачитались,
что и о дороге забыли,
Москва Вам казалась Парижем
и Ла-Рошелью Казань…

Он парень был дошлый и ушлый,
обжора и греховодник,
но, батенька, это ж художник,
каких не сыскать днём с огнём!

Кто в хитросплетеньях сюжета
лозе виноградной подобен,
а если герой погибает –
двоих проливается кровь.
Столетия он, словно двери,
распахивал, всюду был дома,
и тотчас, как старого друга,
его приглашали к столу.
Соавторы тоже старались,
но бледные строчки чужие
он делал своими – живыми,
посверкивали детали,
интрига змеёю вилась.
Чего не любил он – финалы.
К нему приходили герои,
все чада его, плоть от плоти,
любви и пощады просили,
и плакал он вместе с ними,
уже не в силах помочь:

«Дали трещины стены,
песком просыпалось время,
безумное, молодое,
отважное время моё…»

И что тогда в мире значат
бессмертные ваши идеи?
А проще жить – разве легче?
Жить проще – куда труднее,
живее любых идей.

…Как бы теперь удержаться
на самом краю финала,
на предпоследней странице,
где шпоры о прошлом звенят

и настоящее – с нами,
когда двадцать лет спустя…

Ещё обо мне благодарно
помнят мои королевы,
друзья мои верные живы,
свежа госпожа де Шеврёз…

Ласкайте подруг, дорогие,
макайте бисквиты в вино,
а головы – в токи событий,
седые виски – не помеха, –
не нож ведь, не яд, не топор.

Там, там, на старой Тиктонской,
за «Козочкой»-кабачком
стоим у гостиницы ветхой
под панцирем черепичным
и – будто навек – обнялись.
Медлим проститься.
Ме - е - е - длим.
Видим: козу к водопою
девушка-чудо ведёт,
лапушка-объеденье,
девственна, как Мария…
Боже, прости богохульство,
мы же всё ещё можем,
видим всё, замечаем,
любим Тебя. Живём.

Июнь–июль 1997

Исповедь и молитва

...под всем небом всё Моё.

Иов 41, 3

Бог мой верю
я не такой
Ты не думай.
Век осклабляться
пересчитывать мелочь
воспитывать сволочь
в себе дорогом
выдавливать
систематически
раба ли
клеща ли
по капле
а кровь-то своя!
Ёще паука
из души выгонять
и запутаться
в собственной паутине.
К жизни привыкнуть
уже её не бояться
смерти бояться больше
не верить не верить не…
ВЕРИТЬ
в Тебя
безоглядно
мой светлый-пресветлый
неуловимый
непогрешимый.
А я не такой
Ты не думай
и даже такому-сякому
скажи колыбельно:
«…ты Мой!»

1997

Смерть филолога

Сперва замолкли вещи говорящие –
и радио, и телевизор-старожил, –
не жалко, ведь они ненастоящие,
а телефонным аппаратом дорожил.

Трезвонит аспирант, вопрос – ответ,
а кошка ластится и на колени прыг,
и одиночества как будто нет,
когда поэт бубнит нетленный стих

самовлюблённо и не отделясь
от слова, обречённо-приручённого,
нелепа, но законна эта связь,
как смесь тоски с водою кипячёною.

Звонит и ученица из Перми –
куда её судьба её закинула!
А ветер, глухо стукнувший дверьми,
никак не разберётся с паутиною.

Нет у профессора своей семьи
и даже нет троюродных племянников,
но книжек тьма на полках – все свои –
наперсницы, любовницы, избранники…

И будет ночь, и снова будет ночь,
душа черствее коржика вчерашнего,
и одиночества не превозмочь,
когда бы Тютчев эту ночь не скрашивал.

…но спутаются тени и слова
и Орион заденет краем за балкон,
туда же кошка выпрыгнет, едва
душа филолога захочет выйти вон.

Погладит кто, накормит? – тишины
не переносит бархатная тварь,
боятся даже книги-молчуны –
кто разберёт, где Тютчев, где словарь?

А там, над палисадником глухим,
над тишиной, в которой никого нет,
развеян Словом предрассветный дым,
и скоро дождь немую зелень тронет.

Май 1999

Яйла

Олегу Ечкенко

Я другу прокричал: «Ага,
кругом альпийские луга!»
Привал на перевале,
и даже ночевали.

Кругом такая высота!
Куда ни глянешь – пустота
впилась в подошвы хватко,
с ней не сыграешь в прятки.

Легки мы были на подъём,
теперь – себя не узнаём,
но ни о чём не спросим
у низкорослых сосен.

На скалах зацветает дрок.
У каждого – судьба и срок,
так и у нас с тобою,
плюща и зверобоя.

Пусть оглянуться есть на что,
страшит пустынное плато,
и неба здесь так много:
не спрятаться от Бога.

Коровкой Божьей – на виду –
ползу и точно пропаду,
песчинкою утонет
душа в Его ладонях.

Как прохудилась, как мала!
Медведицей лежит Яйла
и пастью ловит воздух,
а на рассвете – звёзды.

Май 1984

Китайская роза

Жизнь, правда, нелегка,
обидно коротка,
но будь, душа, мудра,
невольно заучи
не то, что смерть близка, –
достоинство цветка,
расцветшего с утра,
увядшего в ночи.

2000

Чеснок

Собраться как атлет,
волнение презрев,
сжать силу в кулачок
и замереть – непросто.
Точёный бок его –
сродни слоновой кости –
вдруг брызнет соком,
грозным, аки лев.

Он вещь в себе,
но чем не Айболит?
Недужным помогает он серьёзно.
Не бойся запаха,
любимая простит,
тем паче, что не лук, –
простит бесслёзно.

1991

Разговоры с соседом Олежкой (трёх лет)

1

Жить никогда не поздно,
даже когда расхотелось,
вовсе не хочется жить.
После юности,
потери невинности,
утраты красоты
и взаимности,
после утраты всего.
– А после после всего?

2

Никогда не говорили о смерти,
но однажды Олежка сказал:
– Смерть – это злая старуха
с первого этажа,
та, что всё время кричит:
«Не рвите цветов,
не топчите газон!»

3 (умирая от лейкемии)

– Вот
игрушки мои и книжки,
а я никогда не вырасту.
Значит, они навсегда мои?
(С ними и похоронили.)

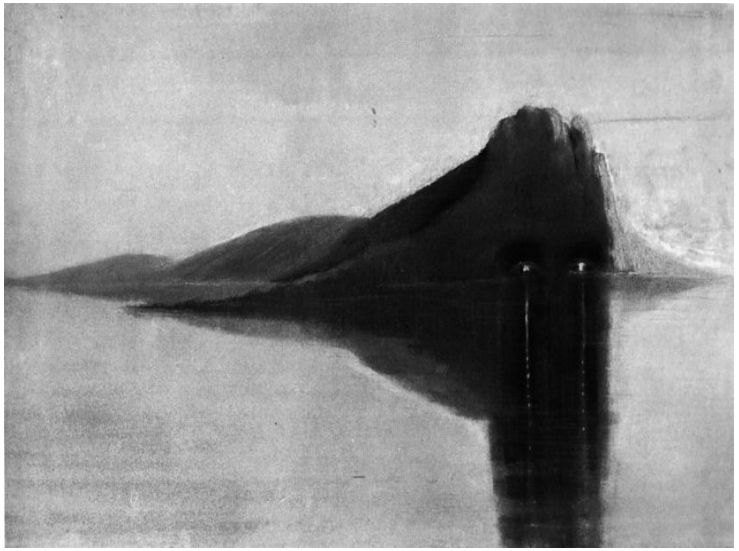
Август 1992

* * *

Ты жизнь или небыль,
пустышка и дурь?
Черним тебя сами,
в дерьмо положа.
Но – башнями в небо,
глотая лазурь,
мой полуразрушенный замок – душа.

1993

ИТАКА



Моё владенье лирой началось
(о, лазурь над норами пастухов!)

Джозеф Редьярд Киплинг

1

Предзимние воспоминания о Коктебеле

Ирине и Стасу

Замрёт – и очнётся, начнёт отзываться
на будущем круге земном,
в хрущобной клетушке, под шорох акаций
за тусклым ноябрьским окном.

И это до яви желанная кара –
под холода долгой иглой
от прикосновений июльского жара
теплеть, оставаясь золой.

Студёных дождей тяжелеет завеса,
и не исчезает во мгле
старик, прикипевший к ребру волнореза, –
оставьте его на земле!

Сердитый рыбак и подвыпивший грузчик,
прозаика гаснущий лик,
ржавеющий на берегу «Стерегущий»
и реющий в небе двойник.

Оттуда, где всё так летуче и зыбко,
и вечно намерено быть,
бессменный Дежурный взирает с улыбкой
на ежекурортную прыть.

Являться и гневаться нету резона:
идёт не эпох череда –
привычная смена людей и сезонов,
пока не остынет вода.

Скрипят гребешковые створки киосков,
и скольких сует кутерьма...
А мальчик слагает с усердием взрослым
из гальки жилые дома.

Откуда ты, золоторусый, проворный,
какая такая страна?
Дай амфоры тысячелетнему горлу
глоток молодого вина!

Босфор киммерийский, тепло твоих фресок,
сухой керамический прах –
не тот ли старик на краю волнореза,
не этот ли мальчик-варяг?

Ещё разобьют нас и готы, и гунны
когда-то потом, а пока
мы по морю ходим дорожкою лунной
и наша поклажа легка.

...Ноябрьского сердца живую ледышку,
как мячик, уносит волной,
и время пускает по кругу мальчишку,
ещё оставаясь со мной.

1996

В час предрассветный

Под утро пришли рыболовы,
в лодочки ладные сели,
водочку не забыли,
и мотыля, и снасти.
Мерно гребут – всё дальше
их сутулые спины,
только не слышно плеска,
будто и нету вёсел.

Кто там на вёслах? Дед мой
Котя, Констин Денисыч,
и сотоварищи деда –
дед Жора и дед Володя,
светлые, пьяные тени.

Где им теперь рыбачить,
водочку пить «для сугреву»,
сказывать страшные байки
о щуке с акульей пастью
и сомах-детоглотах?

Там, на заоблачном Сейме
и на Донце небесном
в розовый час предрассветный
лодки их затерялись.
По берегам, где травы
легче лебяжьего пуха,
спрятались их палатки.
Уголья гаснут костров.
Утро.

Июль 1995

Вьюны

В каких-то райских лугах
перемигиваются ставки,
дымятся коровьи лепёшки.
Мы ловим сачками
диковинных змей водяных,
усатых и пёстрых,
и мне говорят: это – рыбы.
Они извиваются долго,
потом замирают,
воздухом напоены.

А потом…
им придётся ещё раз очнуться –
засвистеть, закричать,
извиваясь на сковородах.

Август,
и словно коснулась меня
раскалённая лава закатов, –
я кричу по ночам,
извиваясь под простынёй:
– Деда, им было больно!

Он молчит, старый вьюн,
и гладит меня,
и гладит.

О, неволя моя,
несвобода моя золотая,
моё луговое детство…
Расскажи лучше сказку
о том,
как сладко спать
малышу-вьюну
на мягком илистом дне.

10 февраля 1995

* * *

Годы вспять идут и бродят –
то приходят, то проходят,
то протянутся верёвкой
бельевою. Мать выходит.

«Помоги бельё развесить».
Сыну скоро будет десять.
Он сольфеджио не любит
и математичку бесит.

«Троечник ваш третьеклассник!
Школа для него не праздник,
по лугам да по оврагам
он гуляет, безобразник!».

Под ногой земля – живая,
с головой трава скрывает,
шорох – ящерка мелькнула,
порх – пичуга полевая.

Видит дед: нелюбы внуку
отвлечённые науки,
отличить всегда сумеет
ужика он от гадюки.

Может, в жизни пригодится.
Может всякое случиться.
Смутное наступит время,
а душа не замутится.

1984

* * *

Маме

Когда пропаду – к рукам твоим припаду,
мимо летящий ангел не скажет: ничей.
Где же мы встретимся снова, в каком аду,
припоминая трепет земных лучей?

Давай убежим на дюны Куршской косы,
где зависают стрекозы над белым песком.
В светлых Михайловских рощах, под звон осы
будем плутать тенями в году каком?

Тропками Саржина Яра – цветов не рвать,
даже травы не мять нам, забыть о том.
Можно былинку каждую целовать,
и никто не заметит, и мы – никто.

...Крым в это утро без боя возьмёт зима,
нам не сберечь тепла, застывает речь.
Жизнь умеет прийти и уйти сама,
и карадагской лавой на берег лечь.

3 февраля 1996

* * *

Кто-то во сне застонет,
кто-то уйдёт в ночи.
Три звезды в Орионе
наши или ничьи.

Неутомимо память
твой продлевает век.
Лёгок и безымянен
новорождённый снег.

3 февраля 1997

Итака

Владимиру Звиняцковскому

Залив и причал, и бурые камни – отныне
я к вам навсегда прикипел, забыв о проказах,
не мучает жажда меня в азийской пустыне,
напрасно, сирены, зовёте, и век одноглазый,
напрасно глядишь на меня, недреманное око,
уже не страшусь я судьбы – неистовствуй, пялься, –
себя затерял я давно и где-то далёко,
меня ли встречает Итака, другого ль скитальца?

...Итак, я вернулся, – и каждую пядь узнавая,
холмы обхожу, – качнулись деревья навстречу;
я помню вас, помню, вы тень и приют мне давали,
пока безбородым гулял я, бедою не мечен,
по той каменистой дороге и этой песчаной,
и в дедовской роще – она по-прежнему справа,
на маминой – самой заветной волшебной поляне,
где чешет невидимый гребень поющие травы.

А дальше – по склонам лесистым, дичая от воли,
пока не дошёл до кромки воды... И всё изменилось,
и стал я бродяжкой-волной Эгейского моря.
Вчера о берег родной бедняжка разбилась.

О дай мне, Итака, такого дурмана и яду,
настоя такого, чтоб мог навсегда позабыть я
те двадцать солёных – и муку мою, и отраду –
от звёздного часа, от звонкого мига отплытья!

Но разве по мне эта роль – домоседа-ахейца?
Предел мой земной, и ты изменился, однако.

– Итака, вернись, – шепчу я, хватаясь за сердце, –
тебя ль я любил, а может, другую Итаку?

Чужие глаза у тебя, другая повадка,
забота всё та же – лозу виноградную нежить,
и если я вдруг затеряюсь в темнеющих складках
горячих холмов – как будто на свете и не жил.

Где мама моя молодая, весёлый отец мой,
девчонка-жена? Как много досталось разлуке!
О тайнах овражных, когда-то разведанных детством,
бормочет родник, мои остужающий руки.

...Итак, я вернулся, о скорбная радость, вернулся,
мой берег качнулся и замер – теперь не отпрянет,
мой век ли, мой миф ли, наверно, свершился, замкнулся.
А море ничем не унять, звучащую память.

Из глины слепили меня всесильные боги,
огнём обожгли, водой ледяной опоили.
Послушай-ка, отрок слепой, мою песнь о Дороге,
запомни, другим передай заморские были.

Я всех соберу вас, ещё незнакомые люди,
спою, как сумею, вино разбавляя слезами,
состряпает ужин жена, коли пищи добудем,
а губы слепого пускай сотворяют гекзаметр.

И как бы ни жил я теперь, умно ли, убого ль,
уже не хитря, не храбрясь, богов не тревожа,
у ног синеглазой змеёй свернулась Дорога
и кольца опять разомкнёт – над старою кожей.

Уже присмотрелись ко мне провалы Аида,
готово вернуться в огонь озябшее тело.
Пусть чуток твой слух, Стесихор, – себя я не выдам:
«само по себе дверное кольцо заскрипело» *.

…А новоучёный кентавр обзовёт архетипом,
по косточкам разберёт, всезнайка и сводник.
Пускай он об этом кричит до смертного хрипа, –
из плоти и крови я был, таким, как сегодня.

Сентябрь 1995

* *Из поэмы Стесихора «Возвращения» (595 г. до н. э.), сохранившейся в нескольких фрагментах.*

* * *

Разомкнув ожиданий круг,
на исходе душевных сил,
на излёте – услышать вдруг
то ли лапок мышиных стук,
то ли ангельских крыл.

1992

Орион

Игорю Азаркевичу

Забыл я о боли и Боге, о смехе и смерти,
я тихо бреду по дороге, с тоскою в конверте.
По жёлтому хрусткому насту, минуя сугробы.
Забыл о ненастье и счастье, и что мне, и что бы...

На почту зайду, телефон, телеграф, как обычно,
там горбится груда плотвой распластавшихся писем.
Скрип перьев казённых и шариков шорох привычный, –
и я был когда-то от звука и света зависим.

Тогда – не сегодня – тревожные хриплые крики
того, кто пытает судьбу у блестящего диска,
о чайках напомнили б, на берегу полудиком
тревожно кричащих, – и море блеснуло б так близко.

Тогда – не теперь, но едва закрываю глаза я
так, словно рукой прикрываю пустые глазницы,
я снова охотник, я снова хочу и дерзаю,
и лесом, и морем, и жизнью могу насладиться.

Могу я поверить каким-то заезжим мормонам,
вороньему глазу гадалки, астролога бреду,
поверить и в то, что платан превратится в Платона
и плеск поднебесной листвы перельётся в беседу.

И мир мне захочется гладить по шёрстке собачьей,
и радость моя никому не покажется мнимой.
Пойду на тепло, как слабый зверёныш незрячий,
на ласку январского солнца и ласку любимой.

Ты знаешь, ты помнишь, как веселы были девчонки,
ходившие с нами, пока не исполнились сроки.
Эпоха застоя, дружище, совсем ни при чем тут,
а солнце исправно всходило на Дальнем Востоке.

Тебе я на Ближний пишу. В начале апреля
надеюсь взобраться на тёплые крымские камни,
там солнца навалом, – а вдруг оживу и прозрею?
А впрочем, наверное, поздно, к чему мне, куда мне...

Не видел, не знаю весенней дороги к Синаю.
Цветёт абрикос по ялтинским горкам в апреле,
и белая лебедь, как чья-то душа неземная,
плывёт по волнам в почти неземном Коктебеле.

Там только вода между нами, она ж и связует,
всегда солона, горьковата, а грек Христофорыч
по-детски смеётся, захочешь – он шарж нарисует.
Разделим последних стихов сладковатую горечь.

Так бей же, волна, смеши нас, художник прибрежный,
чтоб взгляд не потух, чтоб не было тяжко в дороге.
Напомни, мой друг, – нет жизни в житье безмятежном –
о смехе и смерти, о страсти и братстве,
о боли и Боге.

10 февраля 1995

* * *

Борису Чичибабину

Зачем, ты говорил, я всякой дурью занят,
о планах годовых, квартальных хлопочу,
когда поёт весна, когда кружится замять
и слову рады мы, как первому лучу.

Кто полон высших сил и выплеснуть готов их,
беги конторских дел и строгих теорем,
призванью доверяй, встречай и празднуй слово,
о цели не спросив, не ведая, зачем.

Ты это говорил, как светлый бог, всесилен,
и верил я тебе, любуясь и страшась,
сам немощен душой и словом необилен,
но двинувший на свет, минуя мрак и грязь.

Мне просто повезло найти пять-шесть созвучий,
услышать плач дождя, принять печаль сосны, –
и на душе светло, но кто меня научит
и в дебрях декабря не растерять весны?

Такая темнота, как плотно занавешен
пока ещё живой и неостывший свет…
А кто умел летать, свободен и мятежен,
поникнул головой, укутал ноги в плед.

Очнись, мой богатырь, явись таким, как прежде,
порадуйся снежку: воспрянуть не пора ль?
Рифм старых не стыдясь, пою Весну-надежду,
всего-то ничего – прожить январь, февраль!

6–10 декабря 1994

* * *

Л. С. Чичибабиной

О смерти есть множество врак,
что так, мол, и этак,
но время срывается в такт
с качнувшихся веток.
Как сердце поэта согреть? –
Укутался в брови,
осталось ему на земле –
две капельки крови
сквозь сердце живое прогнать,
минуя соблазны,
и света уже не видать,
но слышать – так ясно:
не ангелов горний призыв,
а голос любимой.
И слово короткое «жив»
как выдох единый.
А если замешкает Бог
над мёрзлою крышей,
да будет ещё один вздох
и гулкое: «Слышу».

Когда же зима пропадёт
и зелень нахлынет,
уже с невесомых высот
он землю окинет
мальчишеским взглядом своим,
восторженным взглядом,
единый – с дыханьем земным,
с любимою рядом.
И будет глазеть, как дитя,
на вешнюю птицу,
и в капле слепого дождя
душой отразится.

10 февраля 1995

Иосифу Бродскому вдогонку

Ты ангел во плоти,
Иль, лучше, ты бесплотен!
Ломоносов

1

От гибели шагах, наверно, в четырёх,
густея, отгудит строфическая лава,
источник запределен – видит Бог,
причастен ко всему по неземному праву.

Не *ангел во плоти*[*], на похвалу скупой,
а бука был какой! Не то ещё прочтёте.
Теперь *бесплотен ты*. Не рыжий – золотой,
в небесной синевы летучем переплёте.

Кузнечик дорогой, одический пиит,
до неба прыганул – *и ни о чём не просит*,
и над тремя столетьями парит,
везде в своём дому, совсем как ты, Иосиф.

Какой переполох в родных краях!
Не должен никому. Границы разомкнуло
на стыках всех эпох, от смерти в двух шагах,
где ветер солонит ирония Катулла.

Не труден переход, спадает пелена,
на кромке рубежей светло и невесомо,
ни строчки не слизнёт летейская волна,
и потому навеки – всюду дома.

30 января 1996

[*] *Здесь и далее, где курсив, а также эпиграф – из «Стихов, сочиненных на дороге в Петергоф, в 1761 году» М. В. Ломоносова.*

2

Мой друг спешит, от смерти так далёк,
что я его, как ни гляжу, не вижу,
торопится судьбы он поперёк, –
и потому мне друг Иосиф ближе.

Кто верен галактической родне,
стихам и травам, безоглядно мудрым,
умеет раствориться в тишине
и с Рейном помолчать, последним зубром.

Собрать слова и начитаться всласть,
себя готовя к перемене места.
Неодолима стиховая власть,
почти что запредельное блаженство.

8 февраля 1996

3

Из письма к В. П. Полухиной

Гений – и власть, и право
выгореть, не сгорая,
высветиться на славу,
став навсегда у края.

Души не взять обманом
(выдаст холод подкожный).
Лавой анжамбеманов
вечность потрогать можно.

И ни единой строчкой
не перестать светиться,
умыслом как листочком
фиговым не прикрыться.

Быть – пловцом и потоком,
как судьба, неизбежным.
И посветить потомкам
в будущей мгле кромешной.

Душит стенокардия…
Правь, Океан-стихия
неукротимой речи.
Гений расправил плечи.

31 июля 2019

* * *

Михаилу Красикову

Побеседуем – пустяки
пересуды и винолитья.
Разговоры же по наитью,
как бокалы – прочны, легки.

Чуть задымлены зеркала.
В них – метель и чужие лица,
бесколёсная колесница
и без лошади удила.

О доктринах не говорим,
а поём о любви без фальши.
Мы не знаем, что будет дальше,
но слезами смываем грим.

Возникает из ничего
стих-птенец, желторот и хлипок.
Наша тайна как озорство:
в спинках стульев – изгибы скрипок.

Перемешаны сон и явь,
и не можется расставаться.
Где-то рядом поёт Пиаф,
а всего-то ей лет – семнадцать!

Осень 1979

* * *

Я научилась просто, мудро жить.
Анна Ахматова

Всё суета. К её родным бокам,
к её спине горбатой и рукам,
хватающим удачу мёртвой хваткой,
мы прикипаем духом и повадкой.

Знакомых улиц обежим кольцо,
кивнув три раза, отвернувшись дважды,
и пыльный ветер снова бьёт в лицо,
перемежаясь с ласковым и влажным.

Ах, вовремя бы нам притормозить,
спокойно осмотреться, отдышаться
и научиться тихо восхищаться
тем, как она умела «просто жить».

1989

* * *

Глубоководной рыбе
нельзя наверх,
где солнечные брызги
как фейерверк.

Удел её не жалок –
глу – би – на!
Есть много завлекалок,
а жизнь – одна.

1983

* * *

Не пить ни капли крови,
не отобрать тепла.
В священную корову
не бить из-за угла.

Священная корова –
души моей залог.
Поглаживаю словом
её шершавый рог.

1983

* * *

Какая бездна смысла
в делах друзей моих,
там формулы и числа,
но – умолкает стих.

Предвиденная стужа,
осмысленный приход.
Там новый день наступит
позднее, чем пройдёт.

1984

* * *

Когда бы так: ни тени позы,
упрямствуя, как майский ливень, –
он щедр и, как Господь, серьёзен,
пройдёт – и зелень небу вровень.

Когда бы так: прочь опасенья,
что без тебя разделят прибыль,
и радоваться, как растенья,
когда жара идёт на убыль.

Когда бы так…

1984

* * *

Меня приручали – как нежно меня приручали.
Потом отучали – небрежно меня отучали,
и облако реет подобием белого флага.
Но стала сильнее к высокому воздуху тяга.

1984

Спасение стрижа

Владимиру Бернадину

Стриж не может полететь с ровной
поверхности, так как у него длинные
крылья, но очень короткие ноги.
Он взлетает, только оттолкнувшись
от какого-то края, как от трамплина.
Общая биология, школьный учебник

1

Недолго оперенье зрело
назло птенцовой наготе,
отвагой наполнялось тело,
могучей тягой к высоте.

Как сильно надо захотеть
и, не боясь, о смысле здравом
забыть – другие будут правы,
но права нет у них лететь.

Пора чертить – крылом, пером,
как инок в Книге Голубиной,
о детстве не забыв земном,
иного бытия картины.

Не удержаться на земле,
когда пружинит жизнь в крыле!

2

В таком полёте страха нет
и нет холодного расчёта,
но вдруг с крутого поворота
сорвался стриж – и меркнет свет,

погасло Небо, и дремота
коварная берёт стрижа,
как будто лезвием ножа
крыло поглаживает кто-то.

Нашёптывает осторожно:
«Усни, забудь, как жизнь свежа».
Одно подобие стрижа
распластано в пыли дорожной.

Как жизнь он был неудержим,
теперь – беззвучен, недвижим.

3

Под облаками стриж бывал,
свободен – там, здесь – инороден.
Кошачий дух. Сырой подвал.
Воздушный путь, казалось, пройден.

Наш мир его не понимал:
прохожие сновали мимо,
печальный интеллектуал
заметил, что неизлечим он.

Зевак и сердобольных круг
над ним смыкался – размыкался,
сочувствовал и развлекался,
и даже кандидат наук

математических потрогал
рукой его – мол, спи, убогой!

4

Бывает так: чернеет Небо,
его крылами не обнять,
и гонят доктора в кровать
во имя тела, а не Феба.

И где бы думами ты ни был,
начнут настойчиво лечить
больного строгие врачи –
они другому помогли бы.

А у меня болит душа,
рождая образы тенями
бесплотными, и не спеша
идут немые дни за днями.

Болезнь такая тяжела,
непостижимая, как мгла.

5

А по бульвару шёл художник,
довольный тем, что уследил,
как брызнул дождь и оживил
минутной влагой подорожник.

Всегда гармония возможна,
она от смерти в двух шагах,
вдали от истин непреложных,
жива, как в чистом Небе птах.

Художник в руку взял стрижа,
не гладил, не жалел, не охал,
не тормошил, не обижал –
забросил высок*о*-высок*о*.

Стриж как воды испил живой –
взлетел над пыльной мостовой.

6

Наука эта не сложна:
нужны не порошки и капли,
и не сочувствия спектакли –
поддержка воздухом нужна.

И вот уже растворена
живая раковина Мира
и голубая даль эфира,
как девушка, обнажена.

Лети-свисти, спасённый стриж!
Спаситель твой едва не плачет
и в Небо смотрит наудачу:
когда ты мимо пролетишь?

Пусть вдохновенья торжество,
как твой полёт, спасёт его.

7

Опять в прозрачной синеве
несётся гордый свист стрижиный,
свободный и неудержимый,
как мысли в светлой голове.

Из ветра соткан, о земле
забудет стриж, недавний пленник.
Его бескрылый соплеменник –
художник помнит о крыле.

И в Небо всё глядит с тоской,
но боль пройдёт, сомненья канут.
В сыром подвале, в мастерской
на раму новый холст натянут.

Перната мастера душа,
сестра спасённого стрижа.

Пушкинские Горы. Июль 1984

Там, где ласточка

М.

Сама за собой не успеешь
Невидимы видеть следы.

Державин

1

Мне показалось – странные дела! –
среди людей, едва ли настоящих,
ты – ласточка. Бровей изгиб летящий –
два трепетных, легчайших два крыла.

Подумал я: наверно, это сон,
не любят жизнерадостные птицы
над окнами потухшими гнездиться,
где люди разуверились во всём.

А захотелось в эту синеву!
Пусть не летаю – только сочиняю, –
пошли-ка в небо на исходе мая,
я без него уже не проживу.

Ты говоришь: летать совсем легко, –
так научи, я в воздухе неловок,
и подскажи одно хотя бы слово,
но чтоб оно взлетело высоко.

Ты – ласточка, и мне светло с тобой,
твоё крыло поёт нежнее скрипки,
и этот миг на вечном небе выткан
невидимою нитью голубой.

2

Ты залетела в город лишь вчера,
не ведая о том, какие нравы,
обычаи, заботы и забавы
у ласточек из нашего двора.

Не видела, что небо надо мной
всё в проводах – они стальною сеткой
опутали меня, и, словно в клетке, –
и я, и ты, и люди за стеной.

3

Ты ночевала в куполе собора
и раньше всех взлетела в серый дым,
надеялась: он станет голубым.
И просчиталась – ты попала в город.

А он ещё не погасил огней.
Заснувший поздно и проснётся поздно,
и сон его, тяжёлый и беззвёздный,
короткой жизни, может быть, длинней.

4

Сентябрьский ливень хлынул тяжело
и долго шёл, и снова рассвело,
но ласточка рванулась ввысь до срока –
и вмиг намокло гибкое крыло.

Не хмурься, осень, не бросай упрека,
я торопил печальный твой приход,
а ласточке вдруг стало одиноко,
как будто осень будет круглый год.

5

Провал двора, как пропасть, подо мной,
в нём сырость, тишина – уснули дети.
Забыто недопитое вино.
Над крышей звёзды раздувает ветер.

Одна из них качнулась в такт судьбе,
но удержалась, гордая, на месте.
Другая гаснет лампочкой в подъезде.
Провал двора – и память о тебе.

6

Утро хмурит седые брови,
город грустью охвачен тихой,
словно старый астролог, расстроен
звёзд внезапною неразберихой.

Затуманился и поблёк он,
это осень – обычное дело,
снова лето вернулось в кокон.
Вот и ласточка улетела.

7

Вы, живущие в маете,
вы, поющие в теплоте,
и дежурные остряки,
не поймёте моей тоски.

Да, над пропастью прыгал я,
только ласточка острокрылая
поднималась выше моей строки.
А для вас это пустяки!

Осень 1982

* * *

Мне холодно – Бога ради, огня!
Темно в этом доме, а звёзды не светят,
как будто их не было вовсе на свете,
как будто одна не зажглась для меня.

Мне душно – и, Бога ради, воды...
Не в горле – в душе моей вдруг пересохло,
уже не услышу бездонного вздоха:
«Я вечное, вольное море, – а ты?»

Мне душно – и, Бога ради, войди
в мой вечер, другой и другому не нужный,
пусть больно и трудно, но только б не душно,
чтоб верилось в мир из огня и воды.

Декабрь 1982

Бывают дни

Н.

1

Бывают дни,
как дверные глазки,
но вверченные в потолок.
Я долго шёл, и сжимала виски
нелюдимая тишь дорог.

Небо летело, как снежный ком,
давило невысотой.
И вдруг – сверкнуло дверным глазком.
И голос мне был:
«Открой».

2

Ноябрь неизбежен,
но когда ещё будет ноябрь,
остаёмся живыми.
Птичьи стаи собрал
в остывающем небе сентябрь,
не податься ли с ними?

О, могучий инстинкт,
всё за нас решено наперёд,
устремляемся к Югу.
Вырос Нильс
и подругу
на верное счастье берёт.
Полетели, подруга!

Все вокруг говорят:
– Нет, наверное, не долетят,
разве смогут как птицы?

Только звёзды молчат
и так ярко над нами горят –
не дадут ошибиться.

А ноябрь неизбежен,
об этом не стоит жалеть,
жизнь пройдёт,
убедив не однажды:
полнота её – наша любовь
(а не смерть)
и полёта крылатая жажда.

3

Это радость – ты только послушай –
наша младость вторая,
не будет ей краю,
я знаю.
Это сладость – послушай, родная –
налитой солнцем августа груши.

4

У меня не живут цветы.

Николай Гумилёв

В этом нет моей правоты,
и вины в этом нет ничьей,
просто в доме живут цветы,
тихо тянут тепло батарей.

Я привык – средь камней и книг,
и берёг меня книжный бог.
А теперь я твой ученик,
я дрожу за каждый росток.

И души моей существо
прорастает из немоты.
А ему бы – всего ничего:
каплю солнца, глоток воды.

5

Когда-нибудь войдём с тобою
под своды горней тишины,
но это неземные сны
и ощущенье нелюдское.
Когда-нибудь уснём и мы.

Пока высокий шум прибоя,
земного неба синеву,
траву – и всё, что позову,
я различаю – будь со мною.
И будь что будет – наяву.

Ялта
Февраль-март 1987

Михайловское

Наталии

1
Элегия

Вновь я посетил…
А. П.

Если опять моросит
серый холодный дождь,
ты ничего не проси,
кроме Михайловских рощ.

Ёлки тут до небес,
дремлет дуб-исполин.
Чуток сосновый лес,
слышишь *шорох вершин?*

Только прошли мы треть –
стало ясно вполне:
здесь бы и умереть
вместе – тебе и мне.

Дом на холме стоит,
скрипкой поёт крыльцо.
Ветер какой шумит
в кронах над Маленцом!

Так бы душа взяла
вдруг – и оторвалась,
с тем, чья печаль светла,
выйти бы ей на связь

там, где всё круче путь,
весь *дождями изрыт*.
Вместе бы ускользнуть
из-под могильных плит…

Сентябрь 1990

2
Баллада

Птица, именуемая зуй*,
любитъ мѣста сіи, Богомъ данныя…
Запись монаха Святогорского монастыря.
XVIII век

Мы вольные птицы, пора, брат, пора!
А. П.

Абрам Петрович Ганнибал,
как утомился жить –
вокруг себя сынов собрал,
чтоб земли поделить.

Досталось Осипу сельцо
Михайловской губы,
где Сороть-речка, озерцо,
леса, луга, пруды.

И каждый год – зуёв прилёт,
гнездятся цапли тут,
вот почему народ зовёт
Зуёвым сей приют.

Они красивы и горды,
всех гибче и стройней,
любители большой воды,
лягушек, рыб и змей.

Слыхал малец, слыхал старик,
идя над Маленцом,
родителей гортанный крик
и жадный писк птенцов.

* *Не кулик, а серая цапля, давнее местное название. (Примеч. автора.)*

Кому – крылатая судьба,
кому-то – не судьба,
а под сосною скорлупа,
как небо, голуба.

Который век спешат весной
из Африки – домой!
А смуглый барин под сосной
всё ждёт, уже седой.

Поставил дом и парк разбил –
семьи сберечь не смог,
в Михайловском до смерти жил,
угрюм и одинок.

А к птицам потянулся вдруг
сильнее, чем к родне:
«Им север по сердцу и юг,
они как братья мне».

Когда летят – в нём кровь кипит,
растопит ледники,
наш барин в небеса кричит:
«Здорово, земляки!»

...В последний год, как стал слабеть,
он попросил слугу:
«К друзьям неси меня, а смерть
я встретить сам смогу».

Уж ночи стали холодны
и осень на носу,
безмолвны долы и холмы,
и тишина в лесу.

А в вышине – зуёв отлёт
над зеркалом реки.
С постели барин привстаёт:
«Прощайте, земляки!

Летите в Африку мою,
к желанному теплу,
а я последнее допью
в своём глухом углу».

И голубела скорлупа
у стариковых ног.
Судьба ли это, не судьба
среди земных дорог?

……

Двадцать четвёртый нынче год,
и барин молодой
в именье дедовском живёт
над Соротью-рекой.

Как дед, он смугл и кучеряв,
и ссорится с роднёй,
петровского арапа нрав –
как абиссинский зной.

Не волен выезжать отсель –
таков царёв приказ.
Заморских не видал земель,
а хочется подчас!

Тут банька ах как хороша,
вода в реке свежа,
но знать не знает рубежа
крылатая душа…

Когда тоскует – нем и тих,
и муза на часах,
и, как птенец, упрятан стих
весь в голубых листках.

Уж ночи стали холодны
и осень на носу,
безмолвны долы и холмы,
и тишина в лесу.

Подолгу бродит он один,
и всё не едет друг.
А в небе проплывает клин –
зу*и* летят на юг!

Кричит наш барин вожаку:
«С людьми одна тоска,
я жить в неволе не могу,
возьми под облака!

А не возьмёшь – лети скорей
и передай поклон
далёкой Африке моей,
где прадед был рождён».

Как часто видел он во сне
своих любимых птиц,
парящих в горней синеве,
не знающих границ.

Когда дождался их весной
у Сороти-реки,
вскричал: «Друзья опять со мной!
Здор*о*во, земляки!»

Горит в Михайловском окно
в глухой полночный час.
Сюда поэту суждено
вернуться – и не раз.

В столицах прозябает стих,
а тут – работа всласть,
и выше всех властей земных
Михайловского власть.

Опальный, ссыльный – он творит,
как вольный птах летит,
земле и небу весь открыт
и с Богом говорит.

Вылупливается Судьба,
а выжить – не судьба,
и под ногами скорлупа,
как небо, голуба.

……

И век прошёл, и мы пришли,
хотим певца обнять,
но разминулись – в той дали
не стал нас Пушкин ждать.

Неукротим, как дикий птах,
мог угодить в Сибирь,
но гроб его в Святых Горах,
где древний монастырь.

А дом-музей – пустой орех,
где каждый экспонат
аж вопиет: «Их нету всех,
и я не виноват!»

Как тёмен близ усадьбы лес,
похож на тьму времён…
В вечерний час бредём окрест,
как будто с похорон.

Но оглянулись – время вспять,
пусть всё завершено,
нельзя спасти, нельзя обнять, –
горит его окно!

И сколько бы потом ни шли –
путь близок ли, далёк, –
как только ветки отвели,
всё светит огонёк…

Грех обижаться на судьбу,
мол, что ни день – зеро.
А утром прямо на тропу
упало вдруг перо!

Мы этот май в сердца берём
и слышим птичий зов –
над Ганнибаловым прудом
гортанный крик зуёв.

В сияющих верхах парят,
как ангельская рать,
по-птичьи что-то говорят,
да нам не разобрать.

Уже проклюнулись птенцы,
живее всех живых,
а гнёзда – как любви венцы
на соснах вековых.

Кому – крылатая судьба,
кому-то – не судьба.
А под стволами скорлупа,
как небо, голуба.

Май-июнь 1987

1837

От октября до января –
какая даль!
О том уже не говоря,
что зря – февраль.
И лекаря не отыскать,
чтоб мог спасти,
и некого теперь обнять,
и Бог простит.
Сомненья в январе –
последний грех.
Крещенье в январе
да красный снег.
Но теплится в глазах
небесный свет.
Такого и на небесах
в помине нет.

Январь 1987

* * *

Затих, как Эол в янтаре,
и *некуда больше спешить*,
и *некого больше любить*,
как медлит заря в январе!

Зачем так всерьёз, не щадя
свою драгоценную жизнь?
Сказал же товарищ: «Держись!»
Никак не займётся заря…

1987

Музей в Тригорском

Приду под липовые своды,
На скат тригорского холма…
А. П.

Над Соротью восходим на холмы,
где птичий щебет, летних трав истома.
Экскурсоводы проведут по дому,
такие же всезнайки, как и мы.

Ни именами нас не удивить,
ни строчками – всё каждому знакомо.
Вот зал обеденный, чредою комнат
проходим не спеша – зачем спешить?

Дом недвижим в музейной тишине,
и пустоту нельзя прикрыть вещами.
Хозяйки нет, потомки обнищали,
в соседнем упокоились холме.

Один зелёный танцевальный зал,
где липы двухсотлетние душисты,
всё шепчет: только что юнец речистый
какой-то барышне *люблю* сказал…

Июль 1984

Зеркало для Марины

1

Ты – набережная,
когда во мне клокочет
слепая кровь – любви, исхода, мести.
Подступишь ты,
когда не будет прочих,
я – душный город,
ты – моё предместье.

И – прочь коварство,
бери полцарства
ты моего.
Всё забирай и – властвуй.
Бери-ка даром,
будь государем.

– А проще?

– Здравствуй.

2

Замахнуться высотой –
задохнуться под пятой
строчки –
это выбор непростой,
либо – либо, молодой
зодчий.

Отряхнуть чужую спесь,
из себя – какую есть,
вырвать,
и уже не прыгать вспять,
поздно – не переиграть.
Выбор.

Отрешиться от всего,
недостойного его
власти.
Но когда назад ни-ни,
ты свой выбор не кляни,
Мастер.

Трудно будет – подожди,
душно, – но пойдут дожди
снова.
Сможешь – в роковые дни
за душою сохрани
Слово.

3

Мир, как парус, распахнут,
мир, как голос, живуч,
на полях – твои пахари,
с неба – твой луч.

А иначе не может быть,
а иначе – куда плыть?

И не каюсь я – признаюсь,
что античным назло штормам
аргонавтики полный курс
прохожу по твоим стихам.

И упорствую –
стихотворствую,
чтобы дальше плыть,
чтобы дольше жить.

4

А. И. Цветаевой

Смиренным взглядом – безъязыким
так припадают к образам.
Не веря собственным глазам,
молюсь цветаевскому лику.

Пусть время вспять и вьётся пламя
неостываемое – ввысь.
Десятилетия слились,
и конка обгоняет память.

Как хорошо – собрать народ
в незримо-невесомом храме,
и мы на миг забудем сами:
который час, который год.

Забудем – и остановить
последний миг её замыслим.
…Неумолима книга чисел,
из пламени гнезда не свить.

1983

Навстречу

Навстречу – калека с лицом Пастернака.
На жизнь разминулись – и встреча как будто…
А разве не жил в ожидании знака?
А строчки тускнели, как звёзды под утро.

И разум шепнул: «Не волнуйся, всё ясно:
случайное сходство». А тайна безмолвна.
Как братья и сёстры к нему мы причастны –
деревья и люди, и ветры, и волны.

Когда над дорогой сгущаются тени,
мой встречный не слепнет, крича: «Что такое?»
И столпотворенье у стопок творений
минует он тихо, как всё неживое.

Впуская в себя и молитвы, и битвы,
в любви и печали свечою сгорая,
идёт он – подбитый, но не убитый,
и в белом тумане, как искорки, тает.

Прошедший – он видит и дальше, и выше,
шаги его глуше, но диво какое:
он снова подходит – всё ближе – я вижу,
он снова уходит для встречи со мною.

1979

27–33–37

Номер этот нацарапала Судьба
своим грозным, своим острым коготком,
я звоню – и попадаю не туда,
мне мерещится она – ночным звонком.

Номер этот нацарапала Судьба
на обломке ученической доски.
Пронеслась её гремучая арба,
надоели телефонные звонки.

5 июня 1994

Случай с машинисткой

М. Ф.

Полвека стучала – концы-начала,
и вдруг – на энном её десятке –
прекрасную шутку с ней муза сыграла,
пока с другими играла в прятки.

И скучный её клиент-прозаик,
непроходимый алкаш и нытик,
читал стихи, обливаясь слезами,
и даже дёргался, как паралитик.

«Дуся, – кричал, – растравили вы душу,
вам не печатать – печататься впору».
Но, выпуская слова наружу,
она не любила о том разговоры.

А всё потому, что поймут едва ли
те сочинители и диссертанты:
они пустое ей диктовали,
пора настала её диктанта.

К другим не стучатся, а тут – без спросу
слова, которыми бредят поэты...
Прозаик проспится и скажет серьёзно:
«Дусенька, бросьте вы глупость эту».

1993

Музыка в сухумском автобусе

Темпераментный по-ребячьи,
горбоносый, в своём уме,
крепко держится он, незрячий,
за диковинный инструмент.

Накреняет на поворотах
музыканта, как крепкий бриг.
Отпружинивает кто-то,
заорав: «Ты чумной, старик?!»

Он танцует в проходе узком,
запрокидывает смычок,
в деревяшке его искусной
мелодично скрипит сверчок.

От старинной песни початой
стал добрее и легче путь.
Пролилась она, будто чача,
да никто не смог подтянуть.

Октябрь 1979

Вечерний пляж

Лицо подёрнуто рябью морщин,
давно сигарета потухла.
Пепельная старуха
вспоминает своих мужчин.
Не ворча, по-хорошему,
устало щуря глаза.
Величиной с горошину
на щеке застыла слеза.
К платью живою брошью
приколота роза.

А море не умолкает.
Сама как седая волна,
она мужей поминает,
тридцать лет как одна.

Первый попал под поезд,
погиб на войне второй,
а потерявший совесть
третий ушёл к молодой.

Умница и красавец
первый – да близорук,
третий – не то, что мерзавец, –
просто отбился от рук.

Может, была с ним сурова,
вот он и сменил жену...
До сих пор любит второго
и тихо клянёт войну.

Зверем рычит и хлюпает
в ближних камнях вода.
Быстрая, белозубая,
с родинкою у рта,
маленькая купальщица
зябко ножкою бьёт,
и вода расступается,
а девчонка поёт.
Не замечая старухи,
тягучей её тоски.

У сорванной розы сухо
сворачиваются лепестки.

Сухуми
Сентябрь 1978

Мост через Беслетку

На руке не высыхают брызги.
Мандариновое дерево зачахло.
Над ущельем солнце не зависнет –
оставляет мимолётный отпечаток.

Горы сдвинулись, как сговорились.
Между ними бьётся ледяница,
аркою – прадедовскою силой –
окольцованная, словно птица.

Давней кладки напряглись каменья.
Ни один не задрожал, не хрустнул.
Вздулся над рекою быстропенной
непокорный потемневший мускул.

Там, где горы обижают солнце,
перебрасываясь им, как блюдцем,
мост ногами крепкими упёрся
в берега, готовые сомкнуться.

Сухуми
Октябрь 1979

Нахвамдис

Памяти Зураба Бородзе
и сына его Мамуки

Будто в глаза метнули
горстью сухумской пыли.
Как же ваш дом найду я?
Вышли бы, посветили.
Крепкой любовью свит он
и по-крестьянски ладный,
там в хрустале искрится
кровь лозы виноградной,
с речью людской смешались
гул и орлиный клёкот,
а уходя – «н*а*хв*а*мдис»,
но сперва – «г*а*мардж*о*бат»*.

Как море, шумит застолье,
нам расходиться рано.
«Садись, дорогой Георгий,
рядом с бат*о*ни Леваном».
Вдоволь вина и мяса,
а жизни хватит едва ли, –
словно пируют барсы
Великого Моурави.
Девять раз осушили,
смеясь, голубые роги.
Строчкой Бараташвили
станут земные сроки,

* *До свиданья, здравствуйте (груз.). Далее по тексту «батони» – грузинская форма вежливости, аналогичная русской «господин».*

облачком белой пыли,
мраморней сна Эллады
станут сердца живые
и огневые взгляды.

…Даст Бог, опять сойдёмся –
все, кто убит или ранен, –
может быть, у Бородзе,
а может, у Пиросмани.
Лица цветут любовью,
травой заросли воронки.
Как море, шумит застолье
на старой его клеёнке.
С речью людской смешались
гул и орлиный клёкот.
И никогда – «н*а*хв*а*мдис»,
навсегда – «г*а*мардж*о*бат».

Ноябрь 1993

На полях Аполлинера

1

Посмертных книг не бывает:
или поэт,
или смертник.
В бинтах, как в пеленах века,
он всё-таки остался Аполлинером –
едва забыл, что такое «правильные» стихи,
едва осушил бокал тёмного красного вина,
едва побывал на войне,
едва улыбнулся –
тёплый солнечный зайчик
в раскрытую книжку попал.
Попробуй-ка, Смерть, затушить
случайную эту улыбку!

2

Когда огненные пчёлы
жужжат о немилосердии человека,
Аполлинер находит Пострадавшего,
жестокостью и совестью
расколотого на неравные доли.

«Война – не оправданье, – твердит он. –
Война – глубокий обморок духа,
твоя память залита кровью,
верни себя жизни!»

А читатели пишут на полях:
– Как глубоко!
– Как наивно!
– Возмутительно!
– Восхитительно!
– Раненое сердце…

Вы станете спутниками Аполлинера,
когда почувствуете себя его должниками.
Будете братьями Аполлинера,
когда станете братьями.

Сентябрь 1981

2

Ночные вопросы

Долгие разговоры в ночи –
почти утрачена нить,
но ею мы связаны, как мечи,
которыми не рубить.

Как бы добраться нам до корней?
Холодно – горячо…
Это неволя. А разве вольней
разговаривать ни о чём?

Купол мрака – таков предмет.
Мы под сачком у Того,
Кого – уверяют нас – вовсе нет.
И Кто же и. о. Его?

Долгие разговоры – у тьмы –
едва приоткрыли цель,
бьёмся о стенки прозрачной тюрьмы,
словно сердитый шмель.

Снова и снова – бум в стекло,
крыльями – хлоп-хлоп,
чуем мучителя – и, как назло,
не можем ужалить в лоб!

Кто же он? Бог? Сатана? – Вампир,
пьющий не кровь, а мозг.
Когда мы поймём, зачем этот мир,
он выключит лампочки звёзд.

Осень 1982

Астральная ода

Не ты метели огневые
окольцевал телами звёзд
и нас, как строки черновые,
вписал в свой длинный список грёз.

Не ты росток души лелеял
в клочке материи слепом,
одно желание имея –
сказать живому о живом.

Не ты, в руке сжимая нити
начал вселенских и концов,
огнём мистических наитий
Природы осветил лицо.

Не ты сказал, сверкнув улыбкой
в глухой межзвёздной пустоте,
что сотворённое – ошибка,
и – распластался на кресте.

Не ты подумал о привале,
заставив свой холодный мозг
ловить, уже не раздувая,
огни давно погибших звёзд.

Но ты – неуловимый путник,
и снова ты – совсем не Ты.
Твоей судьбой мы грезим смутно,
не набирая высоты.

1981

И рече Господь

Гостем быть не хочу.
К вам спускаясь по лучу,
вашим домом быть хочу,
вашим хлебом быть хочу.

Вашим домом – чтобы руки,
словно ставни, скрыли вас
от чужих холодных глаз,
от житейской их науки,
чтобы вам Мои глаза
всюду были зеркалами
и земную боль – Я с вами! –
утолили небеса.

Август 1982

Диалог

Михе

Есть молчаливый диалог –
случайные слова минует.
А тот, кто многословен всуе,
не вспомнит: *Слово было Бог.*

Наш молчаливый диалог –
пока не обмелели души –
он как раскрывшийся цветок,
тычинками судьбы наружу.

Мы – странники, и диалог
наш странен – от земли до неба,
он звёзды ловит – прочный невод,
глотает пыль земных дорог.

Ты нем, как воздуха глоток,
как будто слово захлебнулось
и – Хлебниковым вдруг очнулось.
А я спасти его не смог.

Над морем слов, над пеной строк,
минуя рабство и тиранство,
и – через мёртвое пространство –
наш молчаливый диалог.

1982

Одинокий близнец

В твоих глазах – с незримой высоты
сорвавшихся – прочитываю боль я.
Такой же одинокий, как и ты,
не находящий места для гнездовья.

В твои глаза зеркально перелит
и стон мой сдавленный – о, слабость силы! –
и смех, когда мне кто-то говорит:
быть одиноким некрасиво.

В твои глаза я заглянул едва –
и отшатнулся – слишком близко.
И, перебрав знакомые слова,
мы не сошлись, как строки в чёрном списке.

В твоих глазах – звериная тоска,
а гости думают: ты кроток.
Рука судьбы – тяжёлая рука –
перебрала костяшки чёток.

Февраль 1983

* * *

Кем бы желал я быть? – Собою,
вывороченным налицо.
Владимир Соловьев

Зеркала меня иначат.
Краем глаза заглянуть бы
в зеркало, в котором судьбы,
опрокинутые, плачут.

Зеркала меня иначат,
отражение так слепо,
так наивно и нелепо:
от меня меня же прячут.

Зеркала, какого беса
отражаете меня?
Только холод бессловесный,
лунный двойничок огня...

Зеркала ли настоящи
или та, что не дыша
вспыхнет звёздочкой пропащей, –
отлетевшая душа?

1982

Достоевский

Простим угрюмство…
А. Б.

В одиночку, соло, а не хором –
быть судьбе.
Вот он и угрюмствует, как ворон,
всё в себе.

Обвиняемый ждёт приговора
совести своей.
Невменяемый – когда со сворой
собственных чертей.

Оттого глаза темны, неласковы,
и сумел уже
целый мир закрыть –
не только нас с тобой –
в одиночной камере-душе.

А она и молится, и мается,
знает стыд и бред.
Сквозь окошко лучик пробивается,
Божий свет.

1981

Неверие

(три голоса)

– Мы распадаемся на мглу
и чью-то память,
и наши души не живут
за облаками.

– Да как мы прожили? Так-сяк,
горя вполсилы,
не удержаться нам никак
в небесной сини.

– Грешно ль за эту благодать
стать перегноем –
за то, что жили мы, отдать
земле земное.

1980

Предболье

Арсению Тарковскому

1

Стою теперь перед тобою,
как перед болью.
Нет, я не болен.
Мне некогда –
дела загрызли.
Как медленно
подходят мысли…
Сосредоточиться
на сути
так хочется –
а я пасую.
Перед тобою.
Перед собою.
И понимаю:
предболья мало.
А боли много…
Нести смогу ли
такую ношу?
Как в сердце пулю.

2

А во сне я увидел другие глаза,
будет ночь – и увижу их снова.
Вселюдская в них боль и упрёк небесам:
жизнь прекрасна – расплата сурова.

Сон прошёл, но всё те же глаза надо мной,
нет ни радости в них, ни гордыни.
Сердца колокол полнится болью земной,
и глаза эти стали моими.

Да, я избран и призван. Болезни детей,
раны взрослых, свистящие пули
принимаю – чтоб не было детских смертей
и надежды нас не обманули.

Эй, носящие гордое имя землян,
всё враждуете? Я собираю
горький мёд с опалённых войною полян,
ни конца им не видно, ни краю.

Самый близкий отринет меня, не поймёт,
только спросит: «Скажи, что с тобою?»
Стал высокой болезнью мой странный полёт
над Землёй, опоясанной болью.

Семь недель продолжался невидимый бой.
А потом, словно в лифте, – сниженье,
остановка: Земля. Хорошо, что живой,
но не смог избежать пораженья.

Сгустком боли как будто и не был вчера
и глаза не открылись над бездной.
Я спокоен, и жизнь моя точно игра,
а такое лечить бесполезно.

3

Будь, как обруч, звонок и упруг,
сло*в*а зачарованный круг.

Если всё измерено
и сочтено –
выпорхни, неверное,
в окно.

Слово-недруг,
не выплёскивай меня,
сколько в небе
молчаливого огня!

1981

* * *

Меч в ножнах, но сверкает рукоять –
как дневники богов, сокрыты Веды,
слова их сомкнуты – и не разъять,
источник излучения неведом.

1981

* * *

Словами в небо тычется –
кому там править гранки? –
душа моя – язычница,
хотя и христианка.

Темно ей было в немочи,
себя не сознавая.
Отмалчиваться незачем,
пока она живая.

1983

Жизнелюбие

Памяти В. П. Катаева

В ремешках пенал и книги были.
А. А.

Лежат пенал и книжки в новом ранце,
какого года южная весна?
И мрамора живеет белизна
с добавкою рассветного румянца,
теплеет черноморская волна.

Неуследимо таинство творенья.
Бутон замыслен, говоришь? А кем?
Богов ещё так много – хватит всем,
и миг один – до светопреставленья.
И где другой такой найти эдем?

Земных пределов дорог нам уют,
сомнения развеются до глянца.
А если и вторую жизнь дадут –
в гимназию мальчишку поведут.
Лежат пенал и книжки в новом ранце.

Апрель 1986

3

* * *

Природа – своенравный зверь,
то ящерка она, то ящер,
то ангел, приоткрывший дверь
в свой дом, незыблемо стоящий.

Мы входим, робкие, бочком,
чуть недоверчивы, серьёзны,
но вскоре, забываясь, пьём,
взахлёб и раздувая ноздри,

мы пьём, в себя вбирая всю
гармонию её цветенья,
и если близок Страшный Суд,
то нет нам, грешникам, спасенья.

Мы, кажется, растворены
в её святых и мутных водах,
в её закатах и восходах,
и виноваты без вины.

1982

* * *

Без памяти, без тропок – напролом –
так поступает всяк росток зелёный,
апрельским солнцем воодушевлённый,
пронзая мир бездумным остриём.

Вот почки взорваны, бабахнул гром,
и дождь явился манною небесной.
Природа наступает повселесно
и всеовражно в Саржине моём.

1981

* * *

Вал за валом
идут земляные волны,
и кузнечики
захлёбываются
от восторга.

Падай в траву
и смотри вверх:
тысячи отважных
васильков
мгновенно заполнят
вышину.
Вот оно – Небо.

1982

* * *

Дождь мечтает о переводчике,
но чуткости недостаёт
тому, кто силится перевести
его на язык земли
с языка высот.

Море мечтает о переводчике,
но где тот смельчак один,
кто гул его сможет перевести
на язык земли
с языка глубин.

Что-то они хотят сказать –
струи дождя,
волны морей…
Слышу чистый голос воды
сквозь враждебные крики людей.

1982

* * *

Хотелось майским быть дождём –
дождь прекратился,
я в зеркале его живом
не отразился.
Оно качалось без меня
немою рамой,
его с небесного гвоздя
сорвали рано.

А я невольно ощущал:
дождили пальцы,
я ими тихо так стучал:
вы не пугайтесь
и выходите из домов,
ловите ртами
плач неродившихся громов
за облаками.

1982

* * *

Серёжек нежные тела,
вдруг обронённые ветвями,
цепляет жёсткая метла,
они в траве и под ногами.

Никто не виноват, не прав,
но слышу плач о лучшей доле.
Серёжки падают стремглав
и молча корчатся от боли.

1981

Этюд

Берёзы проредили лес –
стволы белее мела.
Иль сходят ангелы с небес,
взлетая то и дело?
Иль это струйки молока –
нельзя ему пролиться.
А может, райская река
сумела просочиться
сквозь огненные облака?

1981

Саржин Яр

Гигантский уж
зеленоватый
влажный
(когда б я был Чюрлёнис
уже бы заболел «Сонатою ужа»)
подполз к окраине
и развернулся
на десять километров
и залёг
таинственный и древний
как земля
наполненный
лягушками и рыбой
стрекозами и майскими жуками
и соловьями
как они поют!
Я угорел
в твоих певучих дебрях
и даже позабыл
какой кошмар
меня замучил...
Словно дождь из тучи
так на меня
из памяти летучей
нахлынул вдруг
великий Саржин Яр.

Его озёр прохладные ладони
и рыжие горячие холмы
так расположены ко мне

так добродушны
что хочется
к ним щёку прислонить
и замереть
на много дней и лиц
пока
как блудный сын
я не вернусь
в бетонный улей
к папкам
дыроколам
и к людям
снова тихо забывая
тьму красок
запахов
цветочный свой угар
звон комариный
посвист соловьиный
о, Саржин Яр!

И неужели
также я забуду
что твоё имя
отдаёт полынью
и прелым пнём
и неба высотой
где царственно
подорлик замирает
и солнечным лучом
распавшимся в траве
на дюжину светящихся кружков.

Как мне забыть
закатный твой пожар
и грозовые дни
когда ты тройке птице
и птице Рух сродни
мне в городе не спится
о, Саржин Яр!

1982

Новосёловский соловей

М. К.

Он за всех за нас один
начал петь на ветке голой,
чёрной ветке, невесёлой, –
скорой ночи властелин.

И хохочет, и гремит,
сколько в слабом тельце мощи!
Космос опрокинут в рощи,
души просятся в зенит.

Так все ночи напролёт,
что ему силки и клетки.
Соловья на мёртвой ветке
вспомни, когда жизнь пройдёт.

Май 1981

* * *

Рукой – по коре вековой,
обитой серебряным мхом.
Под пологом леса я свой,
как лось, или жук, или гном.

Иду
по ступенькам
древесных
грибов,
в гуденье пахучих кустов,
срываюсь и
п
а
д
а
ю
вниз
головой,
когда захочу быть травой.

А если бы вовсе исчез –
такое бывает с людьми, –
ты злую судьбу не кляни –
я рядом, я всюду, я – лес.

(А в городе бродит двойник,
душа его как в полусне.
Мерцают в знакомом окне
манжеты тепличных гвоздик.)

Май 1981

Травяная песенка

о любви трещит кузнечик
крошка эрос травяной
он почти что человечек
только ножки за спиной
любит прыгать
ножкой дрыгать
и в любви не новичок
сеть плетёт на торопыгу
крошка цахес паучок
и пока петля плетётся
не порвётся жизни нить
крошке эросу неймётся
снова хочется любить

1983

Сев одуванчика

Сев одуванчика доверил ветру я,
стихия ветра, как моя, бессмертная,
мне самому с поляной не управиться,
пусть порезвится он, пусть позабавится.

Да что ему, бездумному, сев одуванчика?
Ему бы дунуть, сорванцу-обманщику,
начать легонько, и поляна сонная
ещё не знает, что неугомонный он.

Сев одуванчика доверил ветру я
как доверяют самое заветное,
заоблачная высь – его пристанище,
как ни тянись, а выше нет товарища.

Пускай балуется, пускай дурачится,
трава волнуется и пчёлы прячутся,
и со стеблей, тревогой напоённые,
взлетают стаи лебедей, им окрылённые.

Сев одуванчика, заботу вечную,
доверил ветру я, юнцу беспечному.
А веять вместе с ним – мечта заманчива, –
вдруг не пройдёт, как дым, сев одуванчика…

1982

* * *

Сбил паутинки меж стволов
июньский дождь –
бил, как из пушечных стволов,
лил во всю мощь.

И меж стволов развесил он,
как зеркала,
свои ручьи небесные,
свои крыла.

Там видимо-невидимо
летящих крыл...
А пауков обидел он –
на землю сбил.

1982

Повестка леснику

По лесу, за кругом круг,
бродит мой печальный друг,
и нога его скользит,
и душа его болит.

И зелёными глазами
провожает друга лес,
где так много угасаний,
возрождений и чудес.

Сосны шепчут: «Оглянись!»
Белка цокает: «Вернись!»
Расставаться не желают
с ним кабан, барсук и рысь.

Даже занемог медведь,
начал плакать и реветь:
«У-у-бьёт меня р-разлу-у-ка,
мы с тобой как братья ведь!»

С горя воет серый волк,
не возьмёт никак он в толк:
почему наш друг обязан
«исполнять священный долг»?

Волк спросил о том лису:
«Разве вздор какой несу?»
Молвила лисица прямо:
«Лесника долг – быть в лесу!»

Военком как монолит:
парень исчерпал лимит.
Лает во дворе собака,
цепью ржавою гремит.

1983

Смерть охотника

…в старой английской сказке
к охотнику приходили души убитых птиц.
Дмитрий Кедрин

Сотни зелёных и жёлтых глаз,
острых и цепких когтей…
Пришли к охотнику в смертный час
души убитых зверей.

И даже желторотый птенец,
придушенный верным псом,
приполз, пища: «Природы венец
стал конченым подлецом!»

Кто в детстве лихо давил муравьёв
под мирный бабушек трёп,
убийцей и вырос, и нездоров,
и в страшных муках умрёт.

Кто в детстве Киплинга не читал
и предпочитал душить
котят, с верёвкой зайдя в подвал,
не может на свете жить.

«Пускай не просит прощенья у нас!»
В последнего из людей
уже нацелились сотни глаз,
вопьются сотни когтей.

1984

Кровь на лапах

М. В. Чернякову

Не снег таёжный сыплется – извёстка,
ступает мягко по бетону тигр,
не прикасаясь к прутьям влажно-скользким,
не слушая соседа сонный рык.

Его маршрут вполне благополучен:
от стенки, о которой грезить нечего,
до стенки, на которой робкий лучик
распят в окошке зарешеченном.

Кричит мальчишка: «Здравствуй, полосатый!»
Гроза тайги поглядывает кротко,
и полосы, пугавшие когда-то,
сереют, как следы его решётки.

…Но если ветер, тёплый и пугливый,
влетит в окошко и забьётся в угол,
тигр прыгает и рвёт его ворчливо.
На лапах кровь. Мальчишка перепуган.

Поглядывают взрослые с опаской.
Заржали пони, зайцы еле живы.
Не бойтесь! Угодила киска в краску,
вчера в вольере стены освежили.

Не прикасаясь к прутьям влажно-скользким,
не слушая соседа сонный рык,
ступает тенью, жёлтою в полоску,
ступает мягко по бетону тигр.

1980

Крымские пятистишия

1

В Синем Лесу
хотели найти оленя,
да только поймали
тень его золотую,
его молодое дыханье.

2

В Синем Лесу
сосны и камни
живы друг другом.
В пропасть им не упасть:
корни скалу оплели.

3

Никого
на лесной тропе
не встречали,
только ворон над нами кричал,
только коршун кружил.

4

На лесную тропу
выкатили ребята
злого седого ежа.
Недоволен старик: резвятся,
а у него столько дел!

5

Радостно дикой пчеле
лететь над весенним лугом:
где бы ни села она –
всюду нектар припасён.
Что ж не садится?

6

К маю сады отцвели,
а на Яйле – зимняя сказка:
зайцы играют в снежки,
белые шубки менять
на серые не спешат.

7

Задумались горы,
застыли в недоуменье
над зеркалами озёр:
так ли они высок*и*,
как озёра глуб*о*ки?

8

Разволновались,
шумно качаются сосны:
как близко
проходит над ними
серп молодой луны!

9

Если б гора Дракон
имя своё узнала,
позволила б смельчаку
стоять
на своём хребте?

10

Горный ручей
торопится к морю,
будто боясь опоздать
на свидание
с милой своей.

11

Под колпаком дождя,
в тёплой его неволе
полумёртвый ожил кустарник,
зазеленел благодарно
и – заскучал по солнцу.

12

Под колпаком ладони моей
муравей суетится:
соломинку тащит,
воюет с другими
и – прокушенный – гибнет.

13

Не видали ль вы чудака
ночью глухой
в озёрном краю?
Ловит он, говорят,
неводом крупные звёзды.

14

Млечный Путь
в озерцо заглянул –
себя же увидел.
Космический блюз играет
Большой лягушачий оркестр.

15

В полуночном саду,
как люди, гуляют деревья,
и плащами шуршат,
и раскланиваются
в темноте.

16

В полнолунье
тяжело брести
по каменистой дороге.
Словно бронзовые,
тускло блестят башмаки.

17

Тяжко полной луне
плыть над озёрной гладью:
столько чистой воды!
Никак спуститься не может,
жажду свою утолить.

18

Фыркает ёж в темноте,
шумно топочет, как будто
нет в полуночном лесу
зверя важнее его.
Тихо ступает лиса.

19

Когда покрывает нас темнота,
мы всё-таки живы.
Наверное,
жёлтые дыры лун
просверлены в небытие.

20

Когда растворяются тени
в густеющей мгле
безлунного мира,
летают одни светляки,
прокалывая темноту.

21

Крупный жемчуг дождя
падает в море
и растворяется в нём,
ненасытном и вязком,
под беззвучный хохот медуз.

22

Раннее утро рынка.
Продавцы широко расселись,
разложили свои товары,
словно крабы расставили клешни.
Чудится плеск волны.

23

Отшельнику-раку,
оставив его без дома,
никак не втолкуешь,
что раковины красивей
не сыщешь на южных базарах.

24

Найдя пустую раковину,
поспеши с нею на рынок.
Когда-нибудь
и твоё жилище
продадут за гроши.

25

Сентябрьский полёт стрекозы
над белой тропою.
Казалось, садится на миг –
устала –
застыла навеки.

26

Над виноградной лозой
снова снежинки.
«Пчёлы вернулись ко мне...», –
ласково шепчет она,
коченея.

27

На лице старика
Паук Времени
свил паутину,
и смеётся старик
перекрестьем глубоких морщин.

28

Сладко быть стариком.
Уже ничего не свершая,
как чётки, перебирать
былые дела свои.
Пока не остынет рука.

29

Горько быть стариком
в пору цветения вишен:
сколько жизни вокруг,
омывающей тело,
ранящей душу!

30

Тяжко быть стариком.
Как нищий в богатом доме
или приблудный пес,
смотрит старик на дверь.
Скоро прогонят прочь.

31

Горько быть стариком,
молча слушать рассказы
о подвигах богатырей,
был и он среди них.
Молчит – не поверят.

32

Плачет старик –
ветхий забор обвалился,
как много увидел:
дымки отдалённых селений,
русло быстрой реки.

33

Дерева скрип в ночи.
Старику-рыболову
снится старая лодка, –
давно она прохудилась.
Чудится скрип уключин.

34

Обвил мою шею
ручонками крепко-крепко
двухлетний малыш,
меня увидавший впервые.
Как богу, поверил.

35

Ручонки у малыша
пахнут
ландышем ранним,
наполненным светлой росой,
не тронутым ветром степным.

36

Лепет смешной малыша
как говор листвы обновлённой,
взрослым не разобрать,
слушают небо и луг,
звонкий ручей отвечает.

37

Страхи ребёнка
как игры вселенского страха,
из холода и темноты
ползущего в наши дома.
Очаг не гасите!

38

Веру свою омывай
Разума чистой водою,
чтобы светила Она
ярче высокой звезды
в эту холодную ночь.

39

Дружба не знает колец,
не любит объятий и жалоб,
твёрже гранита стоит
на заоблачных высях
гордая крепость её.

40

Друг не стучится под вечер,
когда же мой друг постучится?
Наверное, в полдень, когда
не буду скрипеть я зубами,
дневной суетой защищён.

41

Над озером стоя, вздыхал я:
«Был ли друг у меня?»
Кажется, скоро
и озеро тихо вздохнёт;
«Был ли он близ меня?»

42

Если себя испытал
и всё тебя испытало,
лучше ещё раз родись,
только таким не живи.
Мало ли трещин в горах?

43

Каменные ступени
Большого Каньона
словно ладони богов –
живою водой полны.
Никак не напиться…

44

В бухте порт*о*вой
крабов пустые шкатулки,
мёртвый детёныш катрана.
Стала темнее мазута
совесть твоя, человек.

45

Отплыл наш кораблик.
Родители на причале
словно помолодели,
не больше детей стали,
заплакали и обнялись.

46

Движутся горы,
в море стекает луна,
с палубы смотрим туда же:
мучит морская болезнь.
Шторм пятибалльный.

47

С «Титаником» схожа
большая цветная медуза.
Гоголь крикнул бы ей:
«Куда ж ты несёшься?!»
Не даст ответа.

48

Под Аю-Дагом
дельфиний эскорт за кормой.
Делают сальто-мортале,
улыбаются людям:
«А вы так умеете?»

49

Это легко сказать:
«Всё я о море знаю!»
Слышал ли крики скал,
шёпот глубинных рыб,
песни морских коньков?

50

Розовый куст в Мисхоре
закоченел на ветру.
Всё ещё помнят
дыханье твоё
поблёклые лепестки.

1983–1984

Лес над Большой Ялтой

Синего леса высотный шум…
Музыка крон, шёпоты скал,
скрипы стволов, шорох песка,
звон тишины и гитарных струн.

Я с головой ныряю в тебя,
хвои неугомонный прибой.
Белые камни стоят над тропой,
словно гвардейцы лесного царя.

Синего леса высотный шум…
Что ему я, ритмы мои.
Глухо урчат в ущельях ручьи,
будто вода попала в трюм.

А я на палубе корабля,
волнами за борт*о*м – облака,
даже покачивает слегка,
стала игрушечною земля.

Синего ветра шальной порыв,
дух смоляной и тепло коры.
…Тут бы и жить, высок*о*-высок*о*,
не откликаясь на шум городской.

Алупка-Сара
Июль 1982

* * *

Воздух чист,
камень мшист,
проводник мой не речист.

Так молчи же, проводник,
и веди, пока ведётся.
Если ученик сорвётся –
значит, горе-ученик.

…Надышались, как орлы.
Воздухом свободы пьяны,
мы спускаемся с Яйлы
на росистые поляны.

И звериною тропой,
двух косуль не потревожа,
следуем на водопой –
жажда мучает нас тоже.

Загудела вдруг земля,
против ветра за сосной мы:
диких кабанов семья
мчится к озеру лесному.

Холки молодых как стяг,
малыши – в тельняшках спинки,
матки и матёрый хряк –
клык сломал на поединке.

Пока живы – обойдём
всё семейство – пейте вволю!
Жажду утолим дождём,
разделив его с травою.

Снова спуск – крутой какой!
Одолели без увечий.
Ниже – воздух неживой,
дух неволи человечий.

1993

Морской сонет

Не солнце в зените – дымящийся скат.
Без жалости жалит салаг и бывалых.
Солёная струйка бежала с виска –
застыла – белёсой полоскою стала.

А штиль наподобие грани кристалла,
наш якорь завяз в голубом молоке,
и рыба так слабо трепещет в руке,
как будто в воде никогда не бывала.

Уже обошли мы последний мысок,
вернуться пора на горячий песок
над невозмутимой залива громадой.

Её рассекают не гребни акул –
прибрежные скалы – и, как «Илиаду»,
уже вспоминают и стоны, и гул.

1981

Сонет Дюны

Гремучие дюны и вечны, и юны,
в июле так жарки – как с пылу блины.
Съезжаем по склонам сыпучей спины,
прямые потомки праматери Дюны.

Как странно звучит она – сухо, бесструнно,
и к морю пускает по струйкам песка.
Мы станем такими же наверняка,
но наши ещё не прочитаны руны.

И Дюна нам песню споёт не одну.
А мы рассекаем телами волну,
морёные боги, да только без нимбов.

На камне, который под Дюною спит,
причудливым шрамом застыл трилобит, –
он тоже когда-то живым был.

1981

Вспоминаю о Прибалтике во время болезни

Приморские коты антеннами усов
меня щекочут, нежные, как дети,
а псы прибрежные гоняют ветер,
проникший даже в механизм часов.

Балтийский ветер тот ещё шалун,
он против часовой пускает стрелки,
мне не нужны горчичники и грелки,
я слышу говор волн и песню дюн.

Как холодно в твоих краях зимой,
лохматых леших и волков забавы…
Тебя я вспомню солнечною лавой,
стекающей к Преголе голубой!

Сосновый бор, где моховых ковров
я находил живые изумруды,
они сродни космическому чуду –
свеченью галактических миров.

(И если бы черники с голубикой
сейчас отведал, как любил, с куста,
тотч*а*с здоровым бы, весёлым стал
приёмный сын твоей природы дикой.)

По мне уже скучают города,
переболею – снова к вам я ринусь,
волшебный Таллинн и волшебный Вильнюс.
А в Тарту, кажется, я жил всегда.

Воспоминаньями богат вполне,
пусть не король, но точно королевич:
меня водил по Вильнюсу Мицкевич!
Аптекарь таллиннский, дай зелья мне…

Многоголосье каменных страниц,
как старые друзья, кивают башни.
Век нынешний и век позавчерашний,
от былей не отгонишь небылиц.

По ангельским и чёртовым мостам
иду-бреду – в бреду? – судьба, не каркай!
Я выживу – ещё увижу Тракай,
мне было очень хорошо и там.

Спит замок островной в краю озёр,
где Витовтом себя воображал я,
судил-рядил – и поступал державно,
а был всего-то школьник-фантазёр.

Апрель последний вспомню – есть, о чём:
о Тарту снова, университете,
меня там Лотман благосклонно встретил,
студенческие опусы прочёл.

На полке вспыхивают янтари –
волны балтийской радужный подарок,
пожалуй, одарю я ими парок,
а то вдруг скажут ласково: «Умри».

Декабрь 1979

* * *

Скоро случится осень,
бросит в сентябрьский миг
звёзд холодную россыпь,
россыпь листьев цветных.

Там, где плывут беззаботно
в тёплых лучах корольки,
осень – бывалый охотник –
скоро расставит силки.

Словно заминка между
плясками двух стихий.
А корольки, как прежде,
трепетны и легки.

Сентябрь 1982

Проводы листьев

«Отшумевшие тополя,
мы тополя молодые,
лёгким золотом октября
мостим мостовые».

Не разыгрывайте,
знаю, вы не хотели,
но почти в немоте
отошли, облетели.

Поределые кроны пьют
вперемешку с туманом
краски осени,
сладость минут
перед новою раной.

Ваши полутона –
предснежная мука.
Листья как времена
пеленают друг друга.

Сходство я нахожу –
как родство между нами.
Перейти бы молча межу,
пресыщенным днями…

Осень 1980

* * *

Позолоченные тропы, холода.
Листья сброшены, как не было весны.
Дней октябрьских промелькнула череда,
мысли собраны и в строчки впряжены.

Пятипалый лист кленовый как огонь,
как горчичник – не для тела – для души.
Ты возьми его широкую ладонь
и к остуженному сердцу приложи.

1983

* * *

Хрустящая россыпь вчерашнего снега,
и птичьих следов беспокойные стрелки,
и тень от кормушки с крупинками снеди,
и рыжий флажок перепуганной белки.

А вечером тянутся странные тени
от сосен, по-южному огненно-бурых,
и манная россыпь вчерашней метели –
уже золотая тигровая шкура.

Лыжня повернула так резко, внезапно,
сквозь сосны белеют морозные крыши,
и лес отступается, скован и замкнут,
от ротозея на стареньких лыжах.

Январь 1978

Апология кота

Конечно, Тигруше

«Воробышка бы, пёрышка хотя бы!
Прости, кошачий бог, мой малый грех...»
Подвижный мир коту бы только схапать
и разнести, как птичку, в пух и прах.

Когда он сыт, зверёныш мой приблудный, –
запрятан в шерсть стальных когтей капкан.
Кот щурит древний глаз свой изумрудный,
как будто фавн на отдыхе иль Пан.

Не разобрать, что там во сне лепечет,
когда губа дрожит, как поплавок.
Я к этой вечной песенке под вечер
и к этой ловчей жизни попривык.

Всё кажется: усталая Природа,
от пересотворений охмелев,
вселилась в эту трепетную морду,
забыв о том, что царь звериный – лев.

А искры испускать, как в старой сказке,
когда *фур-р-мур* с движением светил
в таинственной, непостижимой связке?
Прилапил ты меня как приручил.

Урчи-мурчи, мой властелин прекрасный!
…Когда ушёл – откуда не вернуть,
сто тысяч солнц в глазах твоих погасло,
калачиком свернулся Млечный Путь.

1984, 2001

* * *

Из музыки твоей, гроза,
морских коньков и гальки гладкой,
и комнатного беспорядка,
и снега, бьющего в глаза,
мой мир, желанием объятый.
Глаза открою во всю ширь:
под лапой ёлочки горбатой
январский заалел снегирь.

1991

* * *

когда-нибудь на аспидной доске
последний раз кроша пропащий грифель
и чайкою душа а может грифом
не оставляя тени на песке

кого позвать на мой весёлый пир?
морской прибой шумит как разнотравье
потом волна смывающая мир
ударит ввысь
и память станет явью

1985

4

Предок

Забытый предок, селянин иль шляхтич,
был в услужении у гетмана Мазепы,
а может быть, писал при Кочубее,
и диктовал ему Василь Леонтич
доносы, возмутившие царя.

Пётр скрежетал зубами и ругался,
не верил, перечитывая строки,
старательно написанные предком
изящным почерком в манере европейской.

Сквозь зубы Пётр прорычал: «Пытать!» –
И предку показалось, что спокойней
быть в услужении у гибкого Мазепы:
он, изменяя, другом остаётся,
как раньше другом был, не изменяя...

Сперва схватили Кочубея с Искрой,
пытали, обезглавили, хулили,
потом измена гетмана открылась
и Пётр у турок требовал его.
(Как был охоч до казней государь!)

А мой тихоня-предок, добрый писарь,
которого любил Иван Степаныч,
которого ценил Василь Леонтич,
трём королям писал и грозному царю,
но подписи поставили другие,
и предок выжил, и легко забыт,
и ничего о нём я не узнаю.

...Но вот о чём подумалось сегодня:
а не к добру ли то, что добрый писарь
за Бога не решал, в кругу домашнем
уже не писарь был, а человек.
И никого не смея поучать,
глядел, балдея, на небесный купол
и только не умел слова сложить
о Божием величестве, о звёздах, –
те самые слова: «Открылась бездна...»
(и далее по тексту).

1981

Пётр правит азбуку

По азбуке, как по России,
гусиным чёркает пером,
кромсает буквицы витые,
оставит литеры прямые,
как обтесав их топором.
И плачет переписчик старый,
старинных буквиц поводырь,
изысканным полууставом
писал он Пр*о*лог и Псалтырь.
И бородатый дьяк испуган.
Не врут: в царя вселился бес.
Завёл немецкую подругу,
забыл про лепоту словес...
Хитросплетения, изгибы,
затейливая предков вязь!
Так тыщу лет писать могли бы –
царь упразднил вас, осердясь.
По азбуке, как по России,
почёркал юсы, пси и кси,
набросил петли им на выи
и с кровью вырвал у Руси.

1981

Донец-город *

Брату Косте

Городище.
Пчёл и шмелей
травяное царство,
Эллада стрекозья,
муравьиная Византия...
Василистник дрожит на ветру,
мерно покачивается
лиловоголовый репейник.

Глиняный черепок
молчит о гончарном круге,
и будто второй обжиг прошёл
обугленный черепок.
Когда ж это было?
Бог весть.

Корни трав держали его
крепко-крепко,
а мы отобрали.
Чёрные археологи,
нехорошие люди,
редиски.

* *Древнерусский город в Новгород-Северском княжестве. Согласно летописи, князь Игорь Святославич, бежавший из половецкого плена, «иде пеш 11 ден до города Донця...». Уничтожен полчищами Батыя. Донецкое городище расположено на окраине посёлка Покотиловка под Харьковом.*

Вечер.
Над трубами
коксохимического комбината
вспыхнула первая звёздочка –
такая живая, яркая! –
не твоя ли, Город,
жемчужная душа?

Городище – пока ищем его.
А когда нашли,
разлетаются в прах
его бородатые -ища.

Здравствуй, Город!
Пока вертится гончарный круг
и в руке старого Ивана
трепещет белое горло сосуда,
ещё не обожжённое
в горне времени,
нежное,
как любовь мастера
к этим солнечным,
по-верблюжьи раскосым холмам
с редкой порослью на макушках.

Отсюда ого-го куда видно:
за Половецкую землю,
до Тмуторокани и Греков.
Златоглавый Киев
плавится в закатной заре.
Переливный гуд колоколов.

Вторят им леса,
обильные всякой дичью.
Воды Донца-реки,
как майское утро, прозрачны,
и рыбины, как харалужные мечи,
взблескивают в глубине.

О, Русь, молодая земля,
Донец-город,
вспомните
о себе!

Холмы
расправляют онемевшие плечи,
земля тяжело бугрится под ногами.
Как, брат, удержимся?

Не осока лепечет,
не река бормочет –
Город говорит,
у края степи половецкой
руський Город.
Говорят кости Ивана
и обрастают плотью.
Рядом сыновья его,
мастера молодые:
Ладим*и*р – кареокий,
Иван – голубоглазый.

Вот и дом их
над самым обрывом.
Смотри, как разминают глину
и вытягивают пластами,

и кладут её – лента на ленту.
Скоро волной пробежит
по горячим телам
крутобоких посудин
озорной и весёлый орнамент.

– Мир вашему дому!
– Мир гончарному кругу!

Это всё, что мы можем,–
сказать им доброе слово.

Близятся сроки,
у времени гончара
своя мера:
только сотню кувшинов,
две сотни горшков
да кружек две сотни
сделать осталось,
и тридцать
детских свистулек...

Стрижи принесли на крыльях
свистящее слово: «Батый!»
Слышали люди гул подземный.
Дважды всходило дымное солнце.

И приказал воевода
город Донец оставить.
Далеко-далёко
телеги посадских растянулись,
скрипят-кричат лебедями,
что испуганы
волком степным.

До последнего часа
Иван с сыновьями
горшки обжигали –
для беженцев-земляков,
пригодятся в дороге.
Сами выбраться не успели.

Вдруг
почернела степь на востоке,
воды Донца-реки замутились.
Налетело драконье племя,
обступило Город,
всех, кого увидали,
копьями кололи,
стрелами догоняли.

Много же у поганых
калёных подарков!
Одна стрела – гончару Ивану,
сыну его Ладимиру – другая,
Ивану младшему – третья.

Загорелась
крепостная стена,
занялась церковь,
только святой крест
на ней удержался,
из огня, не дрогнув,
н*а* небо взлетел,
неуязвимый.

Все дома запылали,
страшный
треск древесный и грохот.
Высоко поднялся
Город-огонь
и – рухнул
на горячую землю.

Только дымы повсюду,
точно бесовы дети играют –
вспыхивают
тлеющие головешки.
Ходит
обезумевшая старуха
на пепелище,
глиняные черепки
собирает,
ласково их называет
разными именами,
сама себя пытает,
сама и отвечает:
«Мои сыночки».

Спит Городище.
Василистник дрожит на ветру.
Ой, был славный Город на горе –
стал горе-Город.

– Помоги, отроче,
подыми мя…

Брат мой,
не преступай своего круга,
не дай обжечь
тела своего
раньше срока!

Не забывай об Игоре-князе,
Игоре Святославиче,
что с круга сошёл своего,
ища злата и славы,
обрёл малое – великое потерял,
из половецкого плена
чудом вернулся.

У стен того Донца
вскричал радостно Игорь:
«Земля родная!»
Радовались горожане,
допоздна пировали
и спать положили
своего господина
в тереме новом
на дет*и*нце.

А воинов его не воскресить!
Каждому кровавого вина было вдосталь,
вдоволь густой травы для мягкой постели.

Рано встал поутру князь Игорь,
на стену взошёл,
глядит в даль степную,
долго глядит и плачет,
светлое-пресветлое солнце
пытает: «Не скачет ли где
храбрая моя дружина?»

В малых летах
был Иван-гончар,
а слёзы его запомнит,
поведает сыновьям
об Игоре-князе.

С той поры
стал привечать он
пограничный Город,
укрепил его стены и башни,
серебром одарил посадских,
воеводу – золотом и мехами,
а жену воеводы – шелками.

Крепко стоял Донец
ещё пятьдесят лет
и три года,
шла своим чередом
ладная жизнь городская.
Не по воле его
прекратилось
мирное это круженье
и гончарный круг
над обрывом
остановился.

Спит Городище.
Василистник дрожит на ветру.
Ой, был славный Город на горе –
Донец-город!
Пахари жили в нём
и ратные люди,
а ещё кузнецы, гончары,
охотники и рыболовы,
всем тут хватало места,
мёду и хлеба.

А нынче
на зелёных холмах
только птицы гнездятся.
Города Донца не воскресить!
Имя в летописях затерялось.

Брат мой, послушай:
давай вернём
древней земле
печальную нашу находку.
Обугленный черепок –
это метка
над остывшими лбами
Ивана-гончара
и сынов его,
Ивана и Ладимира,
и всех убiенных
невинно.
Аминь.

1981, 2018

Андрей Рублёв во Владимире

Андрею Тарковскому

Под сводами сидит он на доске,
сжав крепко кисть, как царский жезл, в руке.
Князь не тревожит инока покой –
зашёл и вышел, маленький такой.

«Коль Страшный Суд рисует богомаз,
что ж мажет свод небесным голубцом?» –
дивятся празднику и смерд, и князь –
всемилосердию святых отцов.

Как очищал от пыли он цвета,
от рваных туч как уберечь сумел?
Ни тени зла – покой и красота.
Что во Владимире?
Потоки стрел.

Горят палаты, раненых несут,
от крови стала чёрною трава.
Кричит калика: «Близок Страшный Суд!»
Князь головой качает: «Татарва...»

Постой, иконник, не слезай с лесов,
живи и поклоняйся голубцу,
пусть ангел, одинок и невесом,
по золотому шествует кольцу.

...Спускается он тихо со стены,
глазами голубыми обводя
вороний пир, безумный лик войны,
и говорит: «Я не страшусь тебя!»

А рядом ангел – сквозь огонь и сечь
идут они, невидимые, – пусть
погибнет град и храма не сберечь –
небесным голубцом спасётся Русь.

1981

Феофан Грек

1

Два-три мазка – и возникает лик.
Молчит старик. Ладонями наружу.
Над ветошью сомнений и молитв
неслышно реют праведные души.

Так сонмы лет, тревожных лет стоять
отверженными, гневными, святыми
и ничего пришедшим не сказать,
и удержать губами Имя.

Ты был таким, и молнии мазков
ещё горят как свечи в Божьем храме.
И кроток Авель – пастырь облаков,
а каины сюда приходят сами.

2

Дело не в том, чтобы где-то
в начале пятнадцатого столетия
в коричневых строчках
седых летописцев
последнее свить гнездо.

Дело не в том,
чтоб рукой обнажённой,
негнущейся, слабой,
потрогать бугристую поверхность
церковной стены
и устало почувствовать:
скользкие змейки сырости,
и прошептать:
«Не оставлю
человеку,
будущему по мне...»

Краска облущивается,
тёмные трещины не совпадают
с бурыми линиями Феофана,
стена оседает и падает.

Но я вхожу в последние храмы,
открываю альбомы
с довоенными репродукциями
и – диво дивное –
рука его снова становится твёрдой,
зрение острым…

Чёрные волосы с проседью
перемешаны ветром,
да разве в этом дело!
Воздух в храме звенит.
Люди столпились, немы,
вокруг кипящего Феофана.
Юный певчий
от удивления открыл рот,
и в горле у него пересохло.

Феофан отходит на несколько шагов
и, как древний атлет,
мещет копья в белую пустоту. –
Это взгляды его ударяются о стены.
Скоро колокол проснётся на колокольне
и заведёт густую от времени песню...

Летописи молчат о смерти Феофана,
будто её не было.

Женщина с Младенцем на руках
словно сходит со стены –
и опять на ней остаётся.

Печалясь о Сыне,
Она смотрит на нас:
«Как вы Его там примете?»

1981

Старые мастера

Галине Ваншенкиной

Как на холсте мазки бурлили,
библейская вскипала краска,
так эти пристальные жили,
пророчествуя без опаски.

Травили их и унижали,
но даже обливаясь кровью,
они росли, пока дышали, –
на убыль шло Средневековье.

Взмывали над зловещей бездной,
зло отгоняя духом вещим.
Они не раз ещё воскреснут,
как семена в провалах трещин.

1979

* * *

такая болезнь – врастая
в последний
автопортрет Рембрандта
видеть мглу
притаившуюся
в морщинах его лица
и не испугаться
слышать скрип двери
за сутулой его спиной
и смерти не верить

такая болезнь
или просто жизнь
пока не отгонят
тени моей от света

1983

Полёты в снах

Пёрышко к перу – крыло что надо! –
Это миф усилья и бессилья.
В белом замке гаснет Леонардо,
забываясь, те же видит крылья.

Стены, возведённые Дедалом,
тяжелы, как затвердевший сумрак.
Тупики, ловушки и обвалы
надоели – полетели, умник.

Лабиринт холодною улиткой
там, внизу оставленный, маячит.
Близость Солнца – сладостная пытка
для тебя, солнцелюбивый мальчик!

Мастер спит светло и увлечённо,
счастлив тем, что снова испытал он
лёгкого Икара обречённость.
…Тяжелее умирать Дедалом.

1981

Рот истины

У каждого века – своё средневековье.
Станислав Ежи Лец

Италия. Средневековье бродит
и бредит тайнами дворов и магий,
и в потаённом ящике находит
белеющие трубочки бумаги.

Лепная бородатая мордашка
с открытой пастью – паствой не забыта.
А за стеной шаги – пустеет ящик,
перебирает почту инквизитор.

Рот истины открыт в часы любые.
Обросший неживыми волосками,
он не кричит, как жертвы: «Mamma mia!» –
его закармливают горожане.

Свершится суд – опять казнят злодея,
на ведьму донесут – утопят ведьму,
невинного удавят иудея,
отца погубит молодой наследник.

Усердствуют свирепые монахи,
доносы правые мешают с ложью.
Рот истины уже страшнее плахи,
распахнутый во мраке бездорожья.

Италия. Средневековье бродит.
Спешат на литургию горожане.
И рядом Микеланджело проходит
со свёрнутыми в трубку чертежами.

1981

Складки *

Г. В.

Томление холста. Не синеву небес,
не чёрной ночи приступ краткий,
не зной полуденный, но чудо из чудес –
сегодня я рисую складки.

Мне опостылели хаосы и порядки.
Морщины на лице не распрямить,
истреплется и оборвётся нить,
но мантию я трогаю украдкой.

Она ложится вольно и легко,
как звёздное струится молоко,
синеет пурпур в молодых каналах.

И нашей жизни страстный лабиринт
не та ли мантия? Что мне до кардинала,
когда со мной Природа говорит.

Июнь 1979

* *Леонардо да Винчи был заказан портрет кардинала. Лицо не заинтересовало художника, увлечённого складками кардинальской мантии.*

Монтень

«Я рос под солнцем мудрости античной,
спрягая мысль и отмечая даты.
Пускай путей Господних не постичь мне,
но я люблю высокий лоб Сократа».

Людские помыслы да будут святы
в раю, где нет усталости и лени.
Но вряд ли там начнут читать Монтеня:
он осуждён святейшим Пием Пятым.

Читайте скептика, потомок тёртый
и молодой король Анри Четвёртый, –
Монтень листает самого себя.

Он одинок. Живя в фамильной башне
и этот мир бичуя и любя,
он одинок, как воин в рукопашном.

1981

Лаокоон

Гребню волны подобны.

Надпись на лекифе

Над пластикой движений упругих тел
колдуй, родосский гений, покуда цел.
Растягивая муку на времена,
протягивая руку по-братски – нам.

И кифаредов бредни из глубины –
плач о высоком гребне морской волны…

Рассыплется громада, но долог миф:
и мрамору не падать, и длится миг.
Сжимает горло тихо кольцо змеи.
В трёх измереньях мифа и мы – свои.

1991

Memento et crede*

Н.

Позднего яблока,
римской элегии горечь...
Всё по кругу, подруга, по кругу,
и поверим поэту,
сладка нам его речь:
– Будем, Лесбия, жить,
любя друг друга...

Этой сладкой горечью пьяны,
повторяем божественный лепет,
не очнуться от забытья нам,
только листья осенние – в пепел.

Всё вернётся, поверь,
все в пути –
все, кого мы навек проводили.
Помнишь, из пёстрой бумаги
бабочку мы сотворили?
Даже она прилетит!

Ветка так тяжело качнулась, –
падай, яблоко, мы не тронем.
Вдруг докатишься до Катулла,
до горячих его ладоней…

Сентябрь 1993

* *Помни и верь (лат.).*

Амфоры

Я амфору нашёл!
В голубоватой дымке
она лежит на дне.

Возьму её,
сотру морскую поросль
с крутых боков.

Смотри сюда,
что за рисунок дивный
открылся под рукой!

Тысячелетья прочь –
и грек, собрат мой юный,
рукою машет мне.

Я амфору нашёл,
а под его ладонью –
другая амфора!

Который век
весёлый виночерпий
хиосское несёт?

1981

* * *

Унесёт рубашку жизни,
словно розы лепестки.
Омар Хайям

Да не стоит убиваться,
если скоро расставаться
с тем, что любо, чем живём –
с той поляной, этим днём.

Жизнь – рубахою нательной,
волны света колыбельны,
волны моря словно львы.
Запах скошенной травы.

Надышаться, нагуляться,
в чистом поле затеряться
и растаять в синей ржи
как последние стрижи.

Сентябрь 1995

Содержание

Колонна

Элегии чисел 4
1. «Пасмурных дней неуютная проза...» 4
2. «Мне нравится эта поющая пара...» 6
3. «Не проиграем, если остаток отрубят...» 7
4. «Мир спит, но как хорош младенческий снежок...» 7
Звезда Сириус 8
Масленица 9
Сосед 10
«Я на многое в мире закрыл глаза...» 11
Предсказание 12
Ожидание 13
Русская речь 14
Воспоминание о Крыме 15
Карадаг 17
На Яйле 17
«Прижился плющ, алупкинский дружок...» 18
Полёт 19
Поэт на пляже 20
Тоска по Югу (песенка) 21
Чайхана 22
Восточное 24
1. Из Руми 24
2. «Ты из глубин и далей голубых...» 24
3. «Нам удача улыбнётся – и не раз...» 24
4. «Заметил как-то Рудаки...» 24
5. «Поэт впросак попал, крича: ‘‘Полмира...’’» 25
6. «Всю жизнь боялся смерти Насреддин...» 25
7. Из Джами 25
Педагогическое 26
Весна 2014 29
«Никакой из меня петербуржец...» 30
Имажинисты 31

Попытка разговора с Эмили Дикинсон 32
14 июля 1999 35
Апология птиц 36
Попугай профессора Шамбинаго (филологическая притча) 38
Песенка для кенара Лёвушки 40
Удод 41
Клоп-солдатик (песенка) 42
Время жуков 43
Свадьба жуков (энтомологический мемуар) 46
1. «О, Lethrus apterus, жук мировой...» 46
2. «Кравчики – колониальный народ...» 47
3. «Из книжек я вычитал, что они...» 49
4. «Мой добрый знакомый, жучина-вдовец...» 50
5. «Давно это было – две жизни назад...» 52
Болотная черепаха (мемуар о 1959 годе) 54
Ящерица 56
«В роще и поле, в овраге, у рва...» 57
Инфузория-Туфелька (школьный мемуар) 58
Укрощение зверя (школьный мемуар) 61
Лайон 62
Прощание 63
Просьба 64
«Наглотался пространства и света...» 65
На мотив Леопольда Стаффа 66
Фотоснимок 1970 года 67
«Высшие Силы знали, нам прочертив судьбу...» 68
Полковник Бобров 69
Пессимистическое 71
Война миров (невесёлая притча) 73
Мизантропическое 75
Российская фантасмагория 76
Екатерининский век 80
1. «Княгиня начиталася Руссо...» 80
2. «Графиня с изменившимся лицом...» 80
3. «Любвеобильный генерал-аншеф...» 80

4. «Большой екатерининский орёл...» 80
5. «Суворов, полководец хоть куда...» 81
6. «Отечества заботливая мать...» 81
Размышленія по случаю лѣтняго дождя 82
Князь Пётр Андреич 83
Как веселились предки (почти с английского) 84
Старые открытки 88
Короленко 89
«Чтоб разум сохранить...» 91
«Жил-был поэт Валерий Брюсов...» 92
Римская фреска 93
Колонна 94
Песня Харальда Сурового
о любви к Елизавете Ярославне 96
Фоны гравюр Дюрера 98
Корабельный лес
(последняя картина И. И. Шишкина) 99
Матенадаран 101
Подарок 103
«Грянуло утро – какой ослепительный свет...» 103
Как я не стал живописцем 104
Как я не стал пианистом 105
Как я перестал быть актёром 107
«В гробокопательском экстазе...» 109
Одесская картинка 110
Больница 111
В Карачёвке 112
Как последняя вспышка 113
Воспоминание о жизни 114
Villa nova 115
«За слоем слой разъять – зелёный, голубой...» 116

Долгие проводы

«Я приходил, когда не мог прийти...» 118
На окраине XX века 119
1. «Вот ужас городской, привычен, узнаваем...» 119
2. «За женщиной, усталой, посеревшей...» 119
3. «Вот оно – полуживое опровержение...» 120
Сон о дворе 121
Семидесятники 126
О старухе, просящей копеечку 127
«В толпе – на стылых улицах декабрьских...» 129
«Жесты, взгляды – теперь втихаря...» 129
Борису Чичибабину к 70-летию 130
1 января 2000 131
Ночью 133
Инопланетянин 134
«Носятся годы – в конской, морской ли пене...» 136
«Твой взгляд – монахинь строгий ряд...» 137
Молитва со словарём 138
Еленинская, 24 139
Карповский сад 140
«Вокзала сквозные огни...» 144
«За пазухой камень?..» 145
«Ночь нараспашку...» 146
«Улицы эти мною проходят, мною и живы...» 147
Орион («Два огня, ослепительно молодых...») 148
Сочи 1960 149
Одесса 1968 151
«Прощай, Капитан, – на месте пустом...» 152
Тритонов сонет 153
«Думай, что хочешь, Познань...» 154
О Дамах былых времён 155
Памяти Л. И. Кедриной 157
«Не мне тебя итожить...» 158
Муза черновиков 160
«Спят стихи в потёртом переплёте...» 161

«Нелепо – Пушкин после сорока...» 162
Его современник 163
«Разодран в клочья век твой золотой...» 164
Алупка 166
Памяти Огарёва 167
Анна Горенко 168
Цех поэтов 169
Последнее возвращение 170
Поэт и сахар 171
Франческо Петрарке к 700-летию 174
«Босх мне кажет Содом...» 175
Случай с Набоковым 176
Реставраторы 177
Аполлонию 178
Песни Аполлония 179
1. «Родос моей души...» 179
2. «Плывут Гомера корабли...» 179
«Империя готовится к обвалу...» 180
Памяти Булата Окуджавы 181
Сорокалетие 183
Исповедь и молитва 188
Смерть филолога 189
Яйла 191
Китайская роза 192
Чеснок 192
Разговоры с соседом Олежкой (трёх лет) 193
1. «Жить никогда не поздно...» 193
2. «Никогда не говорили о смерти...» 193
3. «– Вот игрушки мои и книжки...» 193
«Ты жизнь или небыль...» 194

Итака

1

Предзимние воспоминания о Коктебеле 196
В час предрассветный 198
Вьюны 199
«Годы вспять идут и бродят...» 200
«Когда пропаду – к рукам твоим припаду...» 201
«Кто-то во сне застонет...» 201
Итака 202
«Разомкнув ожиданий круг...» 205
Орион («Забыл я о боли и Боге...») 206
«Зачем, ты говорил...» 208
«О смерти есть множество врак...» 209
Иосифу Бродскому вдогонку 210
1. «От гибели шагах, наверно, в четырёх...» 210
2. «Мой друг спешит, от смерти так далёк...» 211
3. «Гений – и власть, и право...» 211
«Побеседуем – пустяки...» 213
«Всё суета. К её родным бокам...» 214
«Глубоководной рыбе...» 215
«Не пить ни капли крови...» 215
«Какая бездна смысла...» 216
«Когда бы так: ни тени позы...» 216
«Меня приручали – как нежно меня приручали...» 217
Спасение стрижа 218
1. «Недолго оперенье зрело...» 218
2. «В таком полёте страха нет...» 219
3. «Под облаками стриж бывал...» 219
4. «Бывает так: чернеет Небо...» 220
5. «А по бульвару шёл художник...» 220
6. «Наука эта не сложна...» 221
7. «Опять в прозрачной синеве...» 221
Там, где ласточка 222
1. «Мне показалось – странные дела!..» 222
2. «Ты залетела в город лишь вчера...» 223
3. «Ты ночевала в куполе собора...» 223
4. «Сентябрьский ливень хлынул тяжело...» 223
5. «Провал двора, как пропасть, подо мной...» 224
6. «Утро хмурит седые брови...» 224
7. «Вы, живущие в маете...» 224

«Мне холодно – Бога ради, огня!..» 225
Бывают дни 226
1. «Бывают дни, как дверные глазки...» 226
2. «Ноябрь неизбежен...» 226
3. «Это радость – ты только послушай...» 227
4. «В этом нет моей правоты...» 227
5. «Когда-нибудь войдём с тобою...» 228
Михайловское 229
1. «Если опять моросит...» (элегия) 229
2. «Абрам Петрович Ганнибал...» (баллада) 230
1837 236
«Затих, как Эол в янтаре...» 237
Музей в Тригорском 237
Зеркало для Марины 238
1. «Ты – набережная, когда во мне клокочет...» 238
2. «Замахнуться высотой...» 238
3. «Мир, как парус, распахнут...» 239
4. «Смиренным взглядом – безъязыким...» 240
Навстречу 241
27–33–37 242
Случай с машинисткой 243
Музыка в сухумском автобусе 244
Вечерний пляж 245
Мост через Беслетку 247
Нахвамдис 248
На полях Аполлинера 250
1. «Посмертных книг не бывает...» 250
2. «Когда огненные пчёлы...» 251

2

Ночные вопросы 252
Астральная ода 253
И рече Господь 254
Диалог 255
Одинокий близнец 256
«Зеркала меня иначат...» 257
Достоевский 258

Неверие (три голоса) 259
Предболье 260
1. «Стою теперь перед тобою...» 260
2. «А во сне я увидел другие глаза...» 261
3. «Будь, как обруч, звонок и упруг...» 262
«Меч в ножнах, но сверкает рукоять...» 263
«Словами в небо тычется...» 263
Жизнелюбие 264

3

«Природа – своенравный зверь...» 265
«Без памяти, без тропок – напролом...» 266
«Вал за валом...» 266
«Дождь мечтает о переводчике...» 267
«Хотелось майским быть дождём...» 268
«Серёжек нежные тела...» 269
Этюд 269
Саржин Яр 270
Новосёловский соловей 273
«Рукой – по коре вековой...» 274
Травяная песенка 275
Сев одуванчика 276
«Сбил паутинки меж стволов...» 277
Повестка леснику 278
Смерть охотника 279
Кровь на лапах 280
Крымские пятистишия (1-50) 281
Лес над Большой Ялтой 294
«Воздух чист...» 295
Морской сонет 296
Сонет Дюны 297
Вспоминаю о Прибалтике во время болезни 298
«Скоро случится осень...» 300
Проводы листьев 301
«Позолоченные тропы, холода...» 302
«Хрустящая россыпь вчерашнего снега...» 302

Апология кота 303
«Из музыки твоей, гроза...» 304
«когда-нибудь на аспидной доске...» 304

4

Предок 305
Пётр правит азбуку 307
Донец-город 308
Андрей Рублёв во Владимире 317
Феофан Грек 318
1. «Два-три мазка – и возникает лик...» 318
2. «Дело не в том, чтобы где-то...» 318
Старые мастера 320
«такая болезнь – врастая...» 321
Полёты в снах 322
Рот истины 323
Складки 324
Монтень 325
Лаокоон 326
Memento et crede 327
Амфоры 328
«Да не стоит убиваться...» 329

Літературно-художнє видання

Лосієвський Ігор Якович

Як останній спалах:
поезії з трьох книжок

В авторській редакції

Макет А. Гуськов
Обкладинка А. Гуськов

Видання російською мовою

Підписано до друку 12.11.2020. Формат видання 42х60/8. Друк офсетний.
Папір офсетний 80 г/м^2. Гарнітура Times. Ум.-друк. арк. 19,4.
Обл.-вид. арк. 9,0. Наклад 300 прим. Зам. 0801.

Видавництво Курсор
Україна, м. Харків, вул. Дмитрівська, 5, тел. (057) 706-31-73.
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб'єктів видавничої справи серія Д 21 від 24.03.2000 р.

Не стоит описывать всё, без конца рисовать,
ты ляг, отдохни, – и пускай растворится кровать
и ты растворишься – расплавишься в лаве заката,
как много оттенков! Зачем вдохновенье искать,
когда ты и есть – сама жизнь, не смотри виновато!
А то, что сгоришь, – так ведь всё непременно сгорит,
и пассионарий сгорит, и, увы, сибарит,
описывать не торопись и не бегай вприпрыжку.
Мгновенья дождись своего, когда речь воспарит
с душой наравне, а душа – как последняя вспышка.

Издательство
курсор
Харьков - 2020